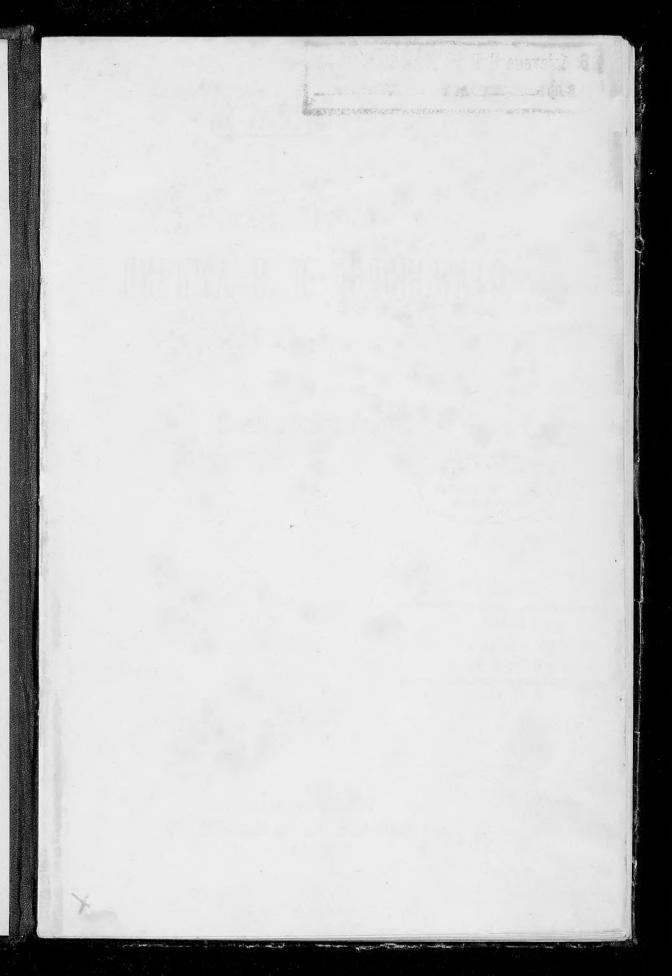
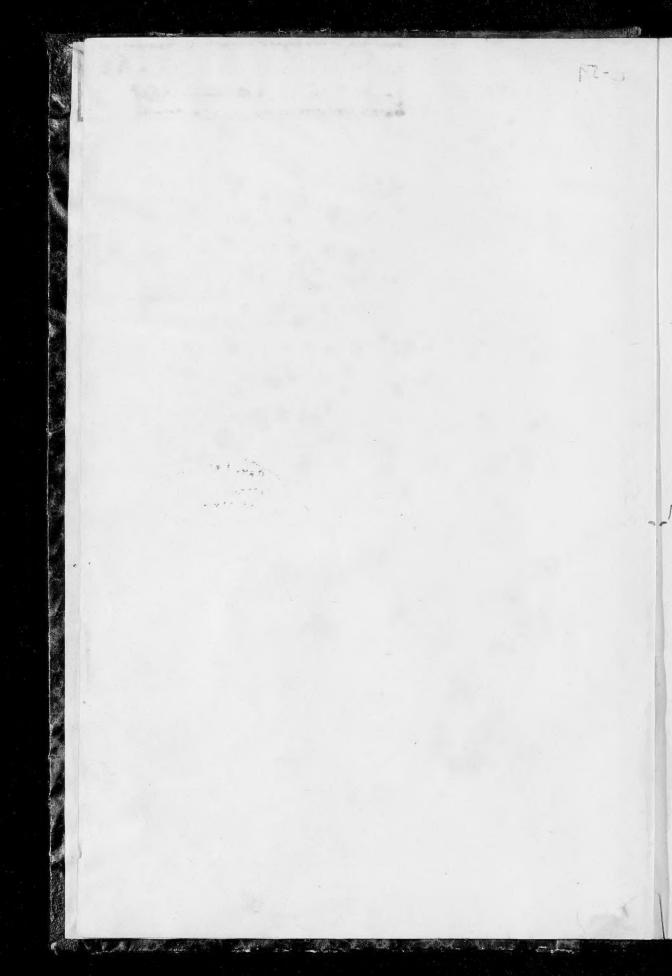


Библіотека Н. К. МИХАЙЛОВСКАГО шкафъ XI подка I № 33





ЛИРИКА Я. П. ПОЛОНСКАГО.

критическій этюдъ.

патчиал библиочека
им. Герьнего



ВИВЛІОТЕКА

О-ва для достав. средствъ В. Ж. КУРСАМЪ.

1976/80

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Язданіе Л. Л. Сойкина

12, Стремянная, 12.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 29 Октября 1898 г.

ВВЕДЕНІЕ.

"Для созерцающихъ очей И для внимательнаго слуха Доступенъ тайный образъ духа И ясенъ смыслъ его рѣчей".

Я. Полонскій.

Это, конечно, красивая формула поэта. Ея термины для нашего времени недостаточно опредъленны и точны. Но мысль сама по себъ безспорно върна и выражаеть основной законъ художественнаго созерцанія и поэтическаго творчества.

Очаль и слуху поэта доступно то, что недоступно другимъ людямъ, зръне и мышлене которыхъ ограничено сферою практическихъ заботъ и будинчныхъ внечатлъний. На все, что стоитъ передъ его глазами, онъ смотритъ не такъ, какъ смотрятъ друге, потому что во всемъ и всегда онъ ищетъ не того, что нужно для успъха въ жизни и для житейской мудрости. Способность смотръть на все своими глазами, думать своею головою—исключительная и ръдкая способность. Не повърить установившимся взглядамъ, отръшиться отъ завътныхъ и общепризнанныхъ убъжденій— необходимое условіе для каждаго серьезнаго открытія въ области науки и мысли. Первою побъдою новаго времени въ его борьов съ схоластикою и средневъковою мудростью—была побъда надъ догмами физики и логики Аристотеля. Когда хотятъ строить,— прежде всего надо расчистить мъсто для постройки. Такъ бываеть во всъхъ сферахъ мышленія.

Въ поэзіи дѣло осложняется еще однимъ и очень существеннымъ факторомъ. Каждый истинный поэть, въ своихъ усиліяхъ проникнуть въ тайны природы и жизни, долженъ безусловно отрѣшиться отъ личныхъ интересовъ и цѣлей. То, чего онъ можетъ достигнуть путемъ пристальной вдумчивости и настойчиваго созерцанія, никакой пользы ему не принесеть, какъ элементь, совершенно непригодный для будничной жизни. Каждый разъ, когда поэть въ своей дѣятельности вздумаетъ руководиться тѣми обоб-

щеніями и выводами, которые явились плодомъ его художественнаго созерцанія, онъ рискуеть надёлать гораздо боліве промаховъ и ошибокъ, чъмъ самый ограниченный и тупоумный дъловой человъкъ. Надо знать практическіе интересы людей, чтобы дъйствовать на ихъ волю. Кто ищеть успъха въ жизни, тоть на каждую живую личность смотрить, какъ на средство для своихъ цълей, и, изучая все только съ этой односторонней точки зрвнія, часто обнаруживаетъ столько ловкости и техническаго умфиія, сколько никогда не бываеть у тонкихъ и остроумныхъ психодоговъ. Въ обычной жизни все, что выходить за границы выгоды и эгоистическихъ побужденій, ръшается судомъ рутины и традиціи, судомъ тѣхъ законовъ житейской мудрости, которые, какъ всегда готовые, по наслъдству пріобрътенные, шаблоны, примъняются къ самымъ разнороднымъ по своему внутреннему содержанію обстоятельствамъ жизни. И этихъ шаблоновъ,—какъ въ жизни всего общества, такъ и въ узкихъ сравнительно рамкахъ кастъ и сословій, всегда им'вется вполн'я достаточное количество, такъ что каждый человькь, войдя въ колею "отчины и дъдины", можеть прожить весь свой въкъ, ни разу не обращаясь за совътомъ къ своей головъ и къ своему сердцу. Жизнь и исторія дають немало доказательствъ того, что даже у очень трудолюбивыхъ и свъдущихъ людей науки личная мысль лънива, бонтся провърки общепризнанныхъ и авторитетныхъ мивній: Возможность ошибки, отвътственность за свою мысль и слово, рискъ не попасть въ тонъ времени и вынести на своихъ плечахъ всъ послъдствія этого разлада—вотъ что стоитъ неодолимой преградой на дорогъ личнаго отношенія къ ділу и побуждаеть многихъ только пережевывать жвачку, давно утратившую свою сочность и свъжесть. Тяжело и скучно бродить по протореннымъ тропинкамъ только тому, кому творческій геній освѣщаеть новые пути, у кого зоркія очи и смълое сердце.

Въ этомъ отношеніи за поэтами давно уже признано гораздо больше свободы. За то наслажденіе, которое дають ихъ образы и звуки, люди готовы нѣсколько расширить кругъ ихъ личности и охотно прощають имъ вольное слово и смѣлую мысль. Но и здѣсь, все таки, гораздо чаще встрѣчаются такіе разсчетливые стихотворцы, которые больше полагаются на плагіатъ, чѣмъ на свое вдохновеніе. Съ житейской точки зрѣнія, ихъ разсчеть безопинбочно вѣренъ. Тотъ, кто снова и снова эксплуатируетъ мотивы и темы, которые пришлись по вкусу массѣ, ничѣмъ не рискуетъ. Какъ только онъ набьетъ себѣ руку въ такихъ "перепѣвахъ", онъ, при должной смѣлости и беззастѣнчивости, не безъ нѣкоторой гордости надѣваетъ на себя вѣнокъ изъ ворованныхъ лавровъ. И здѣсь, какъ вездѣ, основной законъ усиѣха—преклоненіе

предъ рутиною и общимъ мивніемъ. Но именно этотъ-то легкій усивхъ и доказываетъ, что здвсь поэзіи ивтъ, что лира популярнаго поэта не нова, не оригинальна,—а только это и даетъ смыслъ слову "творчество" въ его примвненіи къ поэзіи. То, что говоритъ истинный поэтъ, говорится въ первый разъ, по крайней мврв, въ первый разъ говорится макъ. Здвсь, если и возможно ивкоторое сходство, то полнаго совпаденія—по основнымъ мотивамъ художественнаго созерцанія и творчества—никогда не бываетъ. Если народность и ввкъ налагаютъ ивкоторыя черты сходства на рядъ поэтовъ, то всегда это только вившнія черты, которыя отнюдь не проникаютъ до сокровенныхъ изгибовъ личности и индивидуальности.

Трудно понять, почему Шопенгауэръ, тонкій теоретикъ искусства въ нашемъ столътіи, видълъ въ генів—"чистый субъектъ познанія", "вѣчный глазъ міра". До извѣстной степени съ этимъ, пожалуй, можно согласиться. Созданное поэтомъ живетъ всегда и для всѣхъ, кто только обладаетъ достаточною силою воображенія и мысли, чтобы любить поэзію и понимать ея языкъ. Можно указать признаки, по которымъ всякое созданіе искусства отличается отъ всѣхъ. Но способность къ художественному созерцанію отнюдь не обезпечиваетъ поэта. Самъ Шопенгауэръ говоритъ, что геніальность почти всегда сопровождается страстнымъ и пылкимъ темпераментомъ. Уже и это вноситъ возможность различія и индивидуализацію.

Если въ процессахъ логической мысли личность мыслителя стушевывается за спокойными и безстрастными формами отвлеченнаго мышленія, то въ созданіяхъ пскусства, обвѣянныхъ всѣмъ тепломъ и жизнью чувства, личность поэта сквозитъ въ каждой подробности образа, въ каждомъ переходѣ настроенія. Поэтъ отзывается только на то, что отвѣчаетъ его личнымъ потребностямъ, самымъ завѣтнымъ инстинктамъ его духа. Если въ романѣ и эпосѣ намъ интересны типы людей,—та общая складка характера и воли, по которой много отдѣльныхъ особей сливается въ одно лицо,—то въ области художественной критики полна высокаго интереса личность поэтовъ и художниковъ, такъ какъ въ ихъ субъективизмѣ человѣчество поднимается на вершины доступной ему высоты.

Конечно, всякій разъ, когда дѣло идетъ о характеристикѣ истиннаго и уже поэтому оригинальнаго поэта,—рѣшающее значеніе остается за его произведеніями. Тамъ, къ яркой формѣ и во всемъ объемѣ, воплотились всѣ дучиія стороны его мысли и духа, всѣ особенности его чувства. Далеко на второмъ планѣ стоятъ такъ называемыя "біографическія черты", хотя въ большинствѣ случаевъ именно на нихъ-то и сосредоточивается осо-

бенное вниманіе публики. Рѣдко внѣшніе факты изъ жизни поэта слагаются въ духѣ и по пормамъ его художественнаго идеала. Вполнѣ естественно, что для бездарности и посредственности,— уже по своей натурѣ, завистливой и враждебной всякому превосходству,—лестно знать, что тотъ, кто стоитъ такъ страшно высоко въ области творчества, въ жизни ничтожнѣе, быть можетъ, "всѣхъ дѣтей пичтожныхъ міра". Сознавая все свое неравенство по силамъ духа, эти Сальери искусства,—въ большинствѣ случаевъ люди степенные, трезвые и положительные,—съ горделивой усмѣшкой отмѣчаютъ промахи, странности и эксцентрическія черты генія. И это даетъ новое доказательство, что оригинальность въ творчествѣ почти всегда сопровождается оригинальностью въ мышленіи и жизни.

Здѣсь, такимъ образомъ, ярко очерченный субъективизмъ поэта вполнѣ мирится съ объективизмомъ его созерцанія. Тревоги и заботы обычной жизни не волнуютъ его сознанія. Изучая жизнь, онъ не торопится, какъ торопятся "люди дѣла". Для практическихъ людей интересно только то, что имъ нужно. Міръ и люди живы только для нихъ, и внѣ ихъ личныхъ интересовъ лишены смысла и значенія. Для философа и поэта все полно интереса само по себѣ. И какъ дивятся простые люди, когда геніальный мыслитель или чуткій поэтъ покажетъ имъ въ самыхъ простыхъ и обыденныхъ явленіяхъ жизни то, что они всегда видѣли и чего никогда не замѣчали!—Это и есть объективное изученіе міра, и оно было-бы дѣйствительно безстрастнымъ, еслибы не было другихъ волненій и аффектовъ, кромѣ аффектовъ личнаго счастья и эгонзма. Но у поэта душа отзывается и на то, къ чему другіе глубоко равнодушны.

Поэтъ можетъ быть оригиналенъ и такъ, какъ всѣ другіе люди. У него могутъ быть свои привычки, своя манера жить среди людей и устраивать свои личныя дѣла,—но у него есть и другая оригинальность,—способность по своему отвѣчать на всѣ впечатлѣнія жизни. Такой оригинальности подражать нельзя, ибо она выражается не тѣми внѣшними признаками, которые можно привить къ другимъ путемъ выучки и дрессировки.

Безъ этой оригинальной воспріимчивости—нѣтъ художественнаго воспріятія.

Безъ этой творческой мечты Нътъ правды въ людяхъ, смысла въ лицахъ, Нътъ ни одной живой черты На историческихъ страницахъ.

Но безъ того или другаго *конкретнаго* матеріала—художественной концепціи всетаки быть не можеть. Только тогда, когда поредъ сознаніемъ поэта поднимется чувственный образъ, когда

въ очертаніяхъ этого образа его зоркій взглядъ подмѣтить черты, отвъчающія самымъ отзывчивымъ и звучнымъ струнамъ его настроенія, прождается верно будущаго произведенія. Какъ въ этомъ нервомъ актъ художественнаго замысла, такъ и въ его послъднемъ моментъ, въ создании художественнаго образа, пичность цълое. Это двъ стороны одного и того же феномена. Онъ возникають, растуть и эрфють одновременно, хотя самь но себф, въ своихъ частныхъ моментахъ, это процессъ въ высшей степени сложный. Въ извъстномъ смыслъ, это борьба съ тъмъ чувственнымъ матеріаломъ, въ которомъ поэтъ хочеть воплотить свою "ндею",—то, что зръло въ немъ на почвъ живыхъ наблюденій н чувствъ. Инстинктъ его личной, только ему доступной и ноиятной красоты провъряеть всф подробности чувственнаго матеріала атэонакэтваодагэон и атэонйодтэ атэяк и ээншикки атэккатына основнымъ чертамъ представленія. Предъ лицомъ этой красоты мысль поэта внимательно и осторожно выбираеть изъ образа только то, что ей нужно, а подробности образа въ свою очередь номогають поэту замътить новыя стороны и черты идеи.

Вить чувственнаго матеріала—нізть творчества и нізть поэзін. Нужень мраморъ, чтобы создать статую. Поэту нужень образь, чтобы воплотить евою мысль. Какъ нелегко изъ мертваго камия создать мастерское произведеніе пластики, такъ трудно изъ представленія, мертваго и бездушнаго для всіхъ, сділать живой художественный образь.

Но здѣсь мы все еще остаемся въ области мысли и представленія. Нужны орудія и средства, чтобы приступить къ работь, чтобы покорить своей воль ипертный и пенослушный матеріаль. Такимъ орудіемъ для поэта служить слово, что вносить новыя трудности въ его работу. Слово, какъ таковое, служить цѣлямъ отвлеченнаго мышленія, а всѣ данныя и всѣ пріемы логической мысли въ самомъ зародыніъ убиваютъ поэтическій замысель. Мы уже имѣли случай говорить о томъ, какъ поэть можеть устранить это затрудненіе.

Поэть должень быть богать средствами для воплощенія своихъ думъ и волиеній, а эти средства удивительно разнообразиц и могучи. Къ его услугамъ всѣ изгибы, всѣ тонкости языка. Иногда тоть эффектъ, который онъ хочетъ вызвать въ сознаніи читателя, не можетъ быть достигнуть обычными свойствами слова,—объемъ слова не всегда включаетъ въ себѣ одинаковые элементы сознанія. Чтобы достигнуть своей цѣли, ноэтъ первыми же аккордами мелодін долженъ дать темиъ ассоціаціи представленій. Онъ долженъ установить не только музыку словъ, но и музыку нонятій, ночти незримою питью связать отдъльныя

звенья рѣчи; опъ будеть виновать, если въ сознаніи читателя ряды представленій разорвутся на отд'яльные яркіе клочки, не соединенные въ одно стройное ц'ялос.

Но заставить слово гибко и послушно передавать оттънки представленія—это уже техническая сторона ціли, мастерство, виртуозность. Сущность же творческаго процесса,—какъ мы уже сказали,—заключается въ оригинальномъ пониманіи міра и жизни, воплощенномъ въ образъ. Оба элемента этой формулы безусловно необходимы. Безг художественной воспримчивости-ныть поэта, безъ конкретнаго образа—нътъ поэзіи. Копечно, было бы ошибочно представлять себъ дъло такъ, будто конкретные элементы образа должны стоять передъ глазами поэта въ самый моментъ художественнаго созерцанія; вполнъ достаточно, если они ярко и отчетливо встануть передъ его воображениемъ. Даже лучше, если непосредственное воспріятіе во времени нізсколько отодвинется отъ нашего сознація; тогда слишкомъ случайныя—при всей ихъжизненности-черточки воспріятія отойдуть на задній планъ и рельефиве выступять болве существенные признаки, изъ которыхъ поэть и создаеть свой образь по нормамь своего міровоззрінія, своего чувства красоты.

Мы убъждены, что только неясное представленіе объ этихъ существенныхъ моментахъ творческаго процесса даетъ иъкоторую устойчивость и кажущуюся убъдительность явно ошибочнымъ, основаннымъ на какомъ-то педоразумъніи, современнымъ теоріямъ въ этой области.

Эти элементарныя и простыя истины дають два важныхъ, хотя и отрицательныхъ, вывода. Мы считаемъ безусловно необходимымь подчеркнуть эти выводы, чтобы разъ навсегда исключить изь области художественной критики то, что не подлежить ея въдвнію, какъ явленіе, не имвющее ничего общаго съ искусствомъ. И въ области критики, какъ и вездъ, теорія сплошь и рядомъ рѣзко расходится съ практикою. Формулируя почти одинаково основные законы искусства, критики часто совершенно забывають эти законы, когда подають свой голось по тому или другому частному вопросу изъ сферы своей компетенцін; тогда возинкаютъ споры и пререканія тамъ, гдф дібло ясно и мівста для спора нівть. Подъ шумокъ этихъ ръзкихъ и совершенно непужныхъ споровъ, пріобрѣтають нѣкоторое значеніе уродливыя и нелѣныя формы якобы поэтического творчества, становятся популярными удивительно странные версификаторы, и прозаическій мусоръ засыпаеть нивы поэзін. Тогда находятся досужіе критики, готовые оправдывать новое направление въ искусствъ, облечь явную глупость въ остроумную теорію и систематизировать всякій бездарный рифмованный бредъ.

Первый выводъ изъ этого анализа творческаго процесса представляется намъ въ слъдующемъ видѣ.

Поэть въ своемъ творчествъ пользуется словомъ, какъ единственнымъ орудіемъ своей работы. Слово, этотъ символъ обобщающаго мышленія, приспособляется здёсь къ цёлямъ и средствамъ искусства, которыя почти на всей линіи и почти во всёхъ отношеніяхъ расходятся съ цълями теоретическаго изученія природы и жизни. Самый легкій и веймъ доступный видъ нашей нознавательной д'вятельности-теоретическое мышленіе, т. е. логическія операцін падъ готовыми уже понятіями, безъ критической провърки конкретнаго содержанія этихъ понятій. Къ самостоятельному мышленію, т. е. къ созданію новыхъ попятій или къ критическому видоизмънению старыхъ, -- какъ мы уже говорили, -- способны немногіе. Еще меньше такихъ людей, которые способны отръшиться отъ установивнихся и пользующихся широкимъ кредитомъ ругинныхъ правилъ житейской мудрости, чтобы догнать поэта въ его смъломъ и высокомъ полеть надъ будничными фактами и возэрфизми. Поэтому для многихъ и очень многихъ поэзія совершенно недоступна, такъ какъ обычное мышленіе, направленное на цъли практической жизни, — и по стимулу, и по самому процессу, и по смыслу конечнаго вывода - ръзко отличается отъ мыниленія поэта.

Такіе люди не любять и не могуть любить поэзіи, потому что совећмъ ея не понимаютъ. Ни школа, пи доказательства не могуть разбудить ихъ дремлющаго сознанія и сділать его доступнымъ вевмъ чарамъ и обаянію поэзін. Для этого нужно было бы перестроить всю систему ихъ мыпленія или дать имъ новый интеллектъ. Бороться съ ними и безполезио, и совершенно непужно. Надо разъ навсегда примириться съ тою мыслыю, что говорить о цвътахъ со слъными могутъ только тъ счастливые люди которымъ некуда дъвать свое время. Это прозанки по праву рожденія и по вол'в судьбы. Особеннаго сожальнія они заслуживають тогда, когда сами пробують отрицать искусство. Чаще всего это дблають такъ называемые "люди науки". Гордые своимъ профессіональнымъ авторитетомъ и спеціальною эрудицією, они, по какому-то роковому недоразумбнію, считають себя компетентными и въ вопросахъ поэзін. Ихъ высокомърное отрицаніе до ненужности ярко доказываетъ только то, что природа обощлась съ ними, какъ мачиха, и, приковавъ ихъ къ нуждамъ и заботамъ дня, скрыла отъ нихъ свои лучшіе горизонты и откровенія.

Впрочемъ, это еще довольно безобидный классъ безсознательныхъ враговъ искусства. Гораздо опасиъе ихъ тъ миимые друзья искусства, которые, не отрицая его въ принципъ, пытаются поработить его своимъ личнымъ и эгоистическимъ цълямъ.

Вибиния сторона поэзін имъ отчасти доступна. Они понимають, что поэзія своими чарами илібияєть многихъ, что многія созданія искусства изъ вібка въ вібкъ волиують и тревожать людское сердцо и долго не утрачивають своей жизненности и свібжести. Они чувствують въ поэзін силу и, по привычкі пользоваться всякою силою въ своихъ личныхъ интересахъ, нытаются подчинить ее своей воль.

Въ этомъ отношеній они напоминають того мужика изъ стихотворенія г. Полонскаго: "Въ степи", который быль не прочь промънять свою клячу на крылатаго пегаса.

"— А куда бы, любезный, ты на немъ нолетълъ?—спросилъ его поэтъ.

"— Да куда полетъть? Нъшто въ городъ.

"Али бы къ куму махнулъ. А не то отрубилъ бы

"Чортовы крылья анаеемь, да и запрёгь бы въ тельгу".

Вирочемъ, защитникамъ этой теорін не приходится прибъгать къ такой жестокой операціи. Находится немало "анаоемъ", которые по доброй волѣ сбрасывають съ себя "чортовы крылья" и вирягаются въ тяжелую телѣгу "тенденціозной поэзін". При этой пеудобной запряжкѣ, крылья, дѣйствительно, только мѣніали бы негасу.

Формула журнальныхъ убъяденій занимаеть мъсто музы Журналъ долженъ пропагандировать свои "иден" и поручаеть это своимъ сотрудникамъ, которые съ своей стороны обязаны постав лять и прозу, и стихи. Между поэтомъ и міромъ-густымъ туманомъ стелется "тенденція", огвлеченная мысль, которая, какъ бы она ни была симпатична по своему впутренному содержанію, инчего не даетъ ин глазу, ни воображению. На этой почвъ все стаповится багаднымъ, анемичнымъ и безжизненнымъ. Анализъ, разлагая представление на составные элементы, убиваеть образь, вся сила котораго заключается въ жизненности и рельефной законченности. Тенденціозный "анаоема", какъ рабъ доктрины, иншетъ только пьесы ad hoc, стихотворныя упражненія на данную тему, а дирическій подъемъ вдохновеннаго чувства зам'яняеть нарентирсами 1). Но стихи оглушають не всъхъ. Не всъ, подъ звоиъ рифмъ и грохотъ размъра, погружаются въ летаргическое оцънененіе и безпомощно застывають въ какомъ-то очарованномъ енф. Можно провършть и мысль, и образъ поэта. А если, при этой провъркт, въ итогъ получается отвлеченное понятіе, которое, какъ таковое, только теряетъ въ художественномъ воилощенін, читатель переживаеть чувство злобнаго разочарованія, нотому что его нагло обманули.

⁴) *Парентирсъ* — неискренній или пеумъстный паоосъ.

Географія сама по себъ, конечно, наука очень почтенная. Но проповъдывать самыя здравыя географическія понятія стихомъ и рифмой—это замысель, достойный юркой бездарности, глубоко оскорбляющей всякое развитое эстетическое чувство. Когда-то Бенедиктову пришла въ голову несчастная мысль восиъть Италію Что же вышло?

Красавица въ частихъ и цъломъ. Страна, сіявивая въкамъ!
Съ водами моря по бокамъ, На солнопекъ простершись тъломъ. Челомъ принала загоръльмъ Она къ альпійскимъ лединкамъ.......Красавица! — Вотъ волны Бренты: У ней на переяхъ данъ имъ бъгъ! По этимъ персямъ выотся ленты Игриво сыплющихся ръкъ.

Почтенный авторъ, съ географическою картою въ рукахъ, могъ бы доказать, что онъ правъ, ибо Италія "къ сѣверу граничитъ"... и т. д., по ясному и точному свидѣтельству любаго учебника. Онъ хотълъ игриво изобразить то, что учебники излагаютъ такъ точно и такъ сухо. И все-таки, читая такіе стихи, невольно отравдываень Аноллона, который вельлъ содрать кожу съ живаго Марсіаса, некстати возмечтавнигго, что онъ—достойный соперникъ бога иъсенъ и музыки.

Тамъ ивтъ новаго и оригинальнаго воспріятія, гдѣ есть ферула и школа. Пристрастный судья—не жрецъ справедливости. Тенденціозный поэтъ, при трудолюбій и добросовъстности Тредьяковскаго, въ лучшемъ случав можетъ доказать только свою благонамъренность и стойкость убъжденій, по инкакихъ правъ на навровый вънокъ не получитъ. Чтобы прикрыть жалкую наготу заказанной ему мысли, онъ не брезгаетъ одеждою "съ чужаго плеча", не стыдится щеголять заемной красотой и обнаруживать ръдкую способность къ илагіату. Въ его стихахъ мы можемъ найти, что угодно — и декламацію цеховаго ритора, и рядъ затасканныхъ и избитыхъ общихъ мъстъ, и соблазнительные для всякой проинси афоризмы, не найдемъ лишь свободнаго вдохновенія и личнаго чувства.

Петинный ноэть, когда вивний образь вполив отвъчаеть его настроенію и мысли, не можеть усноконться до тъхъ поръ, пока не подчинить себъ всъ конкретные элементы представленія, не вдохнеть въ нихъ евоего личнаго духа. По настойчивой страст пости его работы, но глубокой серьезности его увлеченія, мы видимъ, что ему надо было создать это произведеніе, что онъ ощущать пеодолимую внутреннюю потребность воилотить свой замыссять въ образъ, потому что только въ немъ одъ видъль возможность проявить лучшія стороны своей личности.

Но такъ ли пужно поэту написать стихи по мъркъ редакціи?—Конечно, нужно написать и эти стихи, потому что ихъ примуть, или потому что они заказаны, или потому что они по вкусу публикъ. Вмъсто поэтической евободы является рабство, заискивающая угодливость, виртуозность лести,—и все это сполна отражается на стихъ. Вмъсто образа—туманный намекъ, вмъсто чувства—знаки восклицанія и вопроса, вмъсто вдохновенія—разнузданность холодной и бъдной фантазіи.

Особеннаго вилманія заслуживаеть здісь одно очень странное обстоятельство. Русскія тепденцін по своему внутренному содержанію порою удивительно жидки и тощи, но пропагандируются съ запальчивостью фанатической петерпимости и сектантской обособленисти. Гдв прежнія широкія и благородныя "тенденцін" шестидесятыхъ годовъ? Теперь многіе уже живуть и думають "по Толстому". Возникаетъ и новая "вегетаріанская" тенденція. Вопросы стола и кухии становятся вопросами "убъяденія" и "секты", дробять людей на классы и касты, имвють своихъ сторонниковъ и оппонентовъ. Надо думать (примъры въ этомъ родъ уже и были!), что скоро явятся поэты "по Толстому", и поэты, вся оригинальность которыхъ будетъ заключаться въ томъ, что они-вегетаріанцы. Тенденція, въ обычномъ смыслів этого слова, всегда стъсняетъ поэта, тотя бы его поэтическій таланть стояль вить всякаго сомивнія, съуживая сферу его вдохновенія и обременяя его мысль прозанческимъ бадластомъ.

Это *первый* выводъ изъ анализа творческаго процесса. Здѣсь некусству предписываются посторониія, несовмѣстимыя съ его сущностью, цѣли.

Второй выводъ касается тѣхъ версификаторовъ, которые, безъ всякой разумной цъли, злоупотребляють средствами искусства и, какъ повые фетицинсты, обожествляють вижшиною оболочку поэзін. Это-бездарности, которыя заслуживають ивкотораго винманія только тогда, когда ихъ популярность становится обратно пропорціональною ихъ даровитости. Ихъ популярность, безспорная по факту и болъе чъмъ соминтельная по праву, сама но себъ очень поучительная и нуждается въ теоретическомъ объясненіи и Въ томъ, что безнадежно бездарные поэты находять своихъ поклонинковъ и поклонинцъ, надо цънить въское доказательство той истины, что средства поэзін—могучи и пеотразимы. Красивый размфръ и звучная риема поражають мыслительныя способности нанвныхъ и простодушныхъ поклонинковъ поэзін, какъ нѣкое гипнотическое внушеніе. Въ этомъ загадочномъ феноменъ можно бы видъть истинное чудо, еслибы у "большой публики" способность критики сколько инбудь сопровождала ея любонытетво и жажду новыхъ впечативній. Но акробать вездів собереть больше зрителей, чъмъ артистъ, и борьба въ циркъ, какъ въ Римъ бой гладіаторовъ, а въ Испаніи бой быковъ,—и теперь доступнъе массъ, чъмъ театръ или картинная галлерея. Правда, оъсъ стихотворства скупъ на награды, хотя и сбиваетъ съ толку многихъ. Въ аудиторін всякаго поэта посѣтителей обыкновенно очень немного. Но есть баловии фортупы, которые такъ ловко угадываютъ "средній вкусъ" нублики, такъ умъло примъняются къ капризамъ и переходамъ этого вкуса, что быстро входять въ моду и пожинають лавры. Nomina sunt odiosa, но въ наше время бездарныхъ поэтовъпримъровъ можно найти сколько угодно. Чъмъ же они берутъ?-Это вопросъ моды, капризной и измфичивой, какъ всякая мода. Прежде была въ модъ гражданская скорбь, топерь вощла въ моду пепомърная "пъвучесть". Минаевскія акробатскія риомы, декадентская путаница словъ, изысканность размъра съ туманнымъ, мистическимъ содержаніемъ лирики — воть-то, чъмъ гордитея илеяда нашихъ "молодыхъ поэтовъ". Борьба съ глагольными риомами, съ инплицими и свистящими звуками русской ръчи объщаеть имъ самые богатые трофеи.

Нельзя не поставить въ великую вину г. Страхову,—теоретику этого звоикоголосаго ибиія,—что онъ указаль на "совершенно ясную, своеобразную стихотворную ибвучесть ръчи", какъ на существенный признакъ истиннаго поэтическаго творчества. Конечно, онъ имълъ въ виду не простую правильность размъра, а "гармоніи стиха божественныя тайны", по выраженію А. Н. Майкова. Но въдь и это—только виънній и несущественный признакъ Л молодые поэты поняли совъть г. Страхова въ духъ Бенедиктова, когда тоть говорилъ о "сердечныхъ симфоніяхъ" въ честь "милой дъвы".

Чтобъ выразить отчаниныя муки, Чтобъ весь твой огнь въ словахъ твоихъ изникъ. Изобрътай неслыханные звуки, Выдуливай неоъдомый языкъ.

Чтобы не оставалось и твии сомивнія въ смыслѣ этой отчаянпости, онъ даеть къ ней и свой коментарій.

На торжищъ міра будь мраченъ и дикъ!

Совъть быть подхваченъ налету. Молодые поэты дошли до геркулесовыхъ столновъ отчаниности! Очертя голову, они напустили на себя невъдомую и непропицаемую мрачность. Раздались на невъдомыхъ языкахъ какіе-то песлыханные звуки и дико "изникъ" какой-то невиданный отнь.

У тѣхъ поэтовъ, произведенія которыхъ идуть "въ завистянвую даль вѣковъ", стихотворная рѣчь не всегда достаточно иѣвуча. И съ какимъ умиленнымъ восторгомъ, съ какимъ всенобѣднымъ торжествомъ наши молодые ніонеры поэзіи, оцѣживаю щіе комара, указывають "промахи" противъ правилъ версификаціи у Аріэля нашего стиха, у Пушкина! Но не перезвонъ риємъ, не капризы моднаго жеманства, не игра средствами искусства,—которая выдвигаеть на чреду послѣдней моды то "символизмъ", то "декадентство",—создають поэта, а та проницательность мысли, которая озаряеть сокровенные изгибы человѣческаго сердца и жизни, и воилощаеть свои наблюденія въ простомъ и яркомъ художественномъ образѣ. Къ сожалѣнію, почти всѣ современные поэты—внуки Бенедиктова.

Было бы ошибочно думать, что плеяда посредственныхъ поэтовъ безнаказанно пройдеть предъ глазами публики, что вев эти пъвучія и беземысленныя фанфаронады разъ навсегда будутъ забыты, какъ только явится повый крупный поэтъ и запоетъ по своему. Не слъдуетъ забывать того, что говорилъ по этому вопросу Шоненгауэръ.

"Достойно самаго серьезнаго вниманія то обстоятельство, что толна посредственныхъ поэтовъ попусту тратитъ и свое, и чужое время, и даромъ изводитъ вороха бумаги. Вліяніе ихъ на публику положительно вредно, потому что публика всегда охотитье всего гонится за новинкой ("за новизной бъжать смиренно народъ безсмысленный привыкъ") и особенно падка на фальсификацію и пошлость, что объясилется самыми свойствами ся натуры. Эти поэты отвлекая винманіе отъ истипныхъ и мастерскихъ созданій искуства, парализують ихъ благотворное вліяніе... Сатира и критика, безъ жалости и синсхожденія, должны бичевать этихъ посред ственныхъ поэтовъ, чтобы они наконецъ—и себъ во благо—поняли, что лучие употреблять свой досугъ на чтеніе хорошаго чужаго, чтомь на изготовленіе худаго своего" 1).

Понулярность посредственности, конечно, очень крупный недосмотръ критики. Но этоть промахъ можно еще извинить: дѣло легко исправить, указавъ надлежащее мѣсто пепризнанному жрецу Аполюна, по ничѣмъ нельзя извинить безпечность и синсходительность критики, когда у нея на глазахъ создаются и пріобрѣтають иѣкоторое значеніе ложные и нелѣпые взгляды, за которыми, какъ тараканы въ щеляхъ, прячутся самыя назойливыя посредственности. Популярность ложной теоріи—неизмѣримо опасиѣе нопулярности бездарнаго поэта. И, къ сожалѣнію, именно въ настоящее время услужливые критики дали возможность всякимъ стихоплетамъ увертываться отъ вполиѣ заслуженныхъ ими бичей и скорпіоновъ.

Искусство-де великая тайна. Каждое прекрасное стихотво-

¹) Die Welt, als Wille und Vorstellung, Bd. 1, 290.

реніе есть, въ шъкоторомъ родъ, чудо, которое повториться не можеть. Переводить стихотвореніе съ одного языка на другой напрасный трудъ, потому что, при переводъ, елъдовало бы повторить чудо творчества. Тайна творчества всегда была и останется тайною. Вев понытки понять и объяснить законы некусства до сихъ поръ не привели къ математически-ясному и окончательному ръшению вопроса. Воть благодатная почва, на которой илодится и мпожится безпечальная и самодовольная бездарность! Явная глуность становится "тайною поэзін", которая доступна только избраннымъ и посвященнымъ. Безсмысленное и безтолковое сочетаніе понятій и представленій прячется за густыми покрывалами мистической красоты, передъ которою критическая мысль должна смиренно сложить свое оружіе. Практическіе выводы отсюда понятны. Поэту не нужно образованія, потому что оно вредить непосредственности и свъжести впечатлънія. Талантъ и умъ--это двѣ вещи, совершенно различныя, и поэтому странно и несправедливо требовать ума отъ поэта. Умъ даже мъщаетъ ему стать поэтомъ тонкихъ и неуловимыхъ настроеній, загадочныхъ и таниственныхъ символовъ, новыхъ и великихъ откровеній... И никогда еще глупость не была такъ смъла, какъ теперь, подъ покровомъ высшей школы и поэзін.

На самомъ дълъ, въ процессахъ творчества тайны столько же, сколько и во всъхъ вопросахъ мышленія и сознанія. Законы и формы мышленія опредълены довольно точно, по само мышленіе—но своей сущности—до сихъ поръ не извъдано. Это не мъщаеть логикъ и неихологіи находить законы и нормы мышленія. Да и въ обычной жизни едва ли кто справляется съ миъніями философовъ о тайнахъ мысли, когда называеть своего ближняго

дуракомъ-и часто вполиъ справедливо.

Правда, созданія великихь поэтовъ часто производять подавляющее впечатлівніе на своихъ современниковъ. Но, когда между нами и великимъ поэтомъ лягуть віжа, когда удивленіе, почти граничащее съ полнымъ непониманіемъ, уступить мівсто вдумчивому и настойчивому изученію, — становится извівстнымъ, откуда бралъ матеріалы для своего ада и рая Данте, какъ создавалъ свой планъ этотъ сумрачный строитель трехъ царствъ загробнаго міра, и какою мыслью онъ провібряль подробности и детали своего гигантскаго замысла.—Вей эти соображенія, по нашему мивнію, даютъ возможность опреділить существенныя задачи художественной критики. Это оннока, и оннока крупная, хотя теперь въ ней виноваты многіе, — когда поэта разбирають молько какъ мыслимеля. Рецензенть подводить итогъ симпатичпымъ и несимпатичнымъ "идеямъ" разбираемаго поэта: за первыя хвалить, за вторыя журить, на глазоміврь прикидываеть его рость, записываеть въ разрядъ первостепенныхъ, второстепенныхъ или третьестепенныхъ звъздъ поэзін и выносить вердикть, уклоняясь отъ дальнъйшей мотивировки. Другому рецензенту симпатичны другія "иден", глазомъръ у него свой, свой взглядъ на табель поэтическихъ ранговъ, и поэтому онъ на всей линіи расходится съ своимъ собратомъ по перу. Такъ и стоятъ эти два противоположныхъ мибиія, безъ всякой надежды на компромиссъ или окончательную побъду, потому что здъсь все—дъло вкуса и прихоти сужденія. Такъ, конечно, и надо разбирать тепденціозныхъ поэтовъ, потому что это и не поэты, а публицисты, которые свою прозу излагають въ стихахъ; по несомитьию, что передъ такой критикой не устоять бы и Данте, потому что у него были свои "иден", которыя едва ли могуть быть симпатичными для всъхъ.

Ігден поэта не то, что иден лыслителя. Мы уже говорили что его оригинальность своеобразиве, глубже и ярче оригинальности людей практическихъ. На ней всегда замътны слъды времени, но она не исчернывается суммою воззрфийй на пужды и потребности общества въ даниую минуту, потому что слагается на почвъ отношений къ вопросамъ и темамъ, имъющимъ въчное значеніе.—Правда, писатели и журналисты любять украшать свои статьи эпиграфами изъ великихъ поэтовъ. Но эти красивыя до парадоксальности формулы отвлеченныхъ истинъ хороши только на евоемъ мъстъ; онъ много теряють виъ своего контекста и не въ нихъ-енда и слава поэта. Плохая похвала поэту, когда говорять, что каждая строчка изъ его стихотвореній можеть быть эпиграфомъ. Рядъ блестящихъ афоризмовъ не создаетъ истинюноэтическаго произведенія. Вся личность поэта— въ его образахъ. Сквозь нихъ мы чувствуемъ и его иден, и его чувство, и его настроеніе. Угадать въ этихъ образахъ живаго челов'йка, нонять завътные инстинкты его духа и свои выводы выразить точно и опредъленно въ формахъ отвлеченияго мышленія—вотъ главиая задача художественной критики. И это очень не легкое дъло. Для этого необходимо-внимательно и вдумчиво изучить поэта и непремънно—sine ira et studio. Партійность сдълаетъ критика субъективнымъ и въ результатъ такой работы на первомъ планъ неожиданно очутится не личность поэта, а личность критика. Чаще всего именно эта ошибка и лишаетъ критическіе приговоры убъдительности и серьезности. Рубить гордієвы узлы съ илеча—дъло тъхъ воинственныхъ и нетериъливыхъ умовъ, которые, мечтая стоять на вершинахъ мудрости и знанія, вев діла, выходящія за предълы ихъ узкаго пониманія, рѣшаютъ судомъ скорымъ и немилостивымъ.

И этого мало. Даже опредѣленная система философскаго вѣдѣнія, становясь между критикомъ и поэтомъ, можеть повести къ очень крупнымъ промахамъ и ошибкамъ. Каждый въкъ имъетъ свои симнатіи. А поэтъ, который смотритъ на все своими глазами, можетъ отказаться отъ этой призмы, все окрашивающей своими тонами, и создать свои догмы и свое міросозерцаніе. Страстному поклопнику Леопарди трудно безпристрастно судить о музѣ Беранжэ или Овидія.

Чтобы узнать поэта, прежде всего надо внимательно изучить чувственный матеріаль его творчества,—узнать, на что чаще и охотиве всего обращались его глазь и ухо. Выборь образа, выборь подробностей въ немь, комбинація отдільных признаковь и духовное освіщеніе всего образа изнутри—все это факты міровозэрізнія и души поэта. Удачный анализь отдільных произведеній съ этой точки эрізнія—даеть цеоспоримые выводы, которые въ своей совокупности и очерчивають всю личность поэта.





При разборѣ произведеній поэтическаго творчества, къ сожальнію, очень часто забывають, что міровоззрюміє поэта открывается въ самомъ выборѣ образа и въ комбинаціи подробностей этого образа. Но это міровоззрѣніе—не міровоззрѣніе философа, не система отвлеченныхъ истинъ, для пониманія которыхъ иѣтъ нужды въ изученій живой личности мыслителя. Всѣ біографы Сипнозы говорятъ, что это былъ кроткій и очень гуманный человѣкъ. Но это едва ли отразилось на его философіи. Въ его "Этикъ" много суровыхъ, почти жестокихъ формулъ. Довольно уже и того, что онъ отожествляетъ границы права и силы. Здѣсь темпераментъ не кладетъ на мысль своего отнечатка и поэтому въ области логическаго мышленія возможно полное сходство взглядовъ и убѣжденій.

Не таковы мысли поэтовъ. На нихъ всегда слишкомъ замѣтны сатъды личности и индивидуальности. Здъсь всегда очень важно знать, чья это мысль, кто говорить это слово. У двухъ поэтовъ думы, почти одинаковыя по своему виблинему выраженю, -- въ сущности различны, такъ какъ стоятъ въ неодинаковомъ контекстъ ръчи и отражають своеобразную и оригинальную личность того кто ихъ выносилъ и воплотилъ въ своемъ творчествъ. Каждый стихъ Гейне звучитъ не такъ, какъ звучатъ иъсии Бераижэ. Всъ, кто любить и пошимаеть ноэзію, чувствують интимныя и зав'ятныя евойства личности поэта. По до извъстной степени ихъ можно и знать, т. е. перевести въ формы отвлеченной мысли. Но это дъло требуеть большой осторожности и полнаго вниманія—уже потому, что мысль и личность поэта воилощается въ образв, а не въ теоретической формулъ... Анализъ убъетъ въ поэтъ все живое, если будеть видать въ цемъ только мыслителя. Основныя черты поэтическаго міросозерцанія надо угадывать, нотому что только нлохіе поэты дають его прямо, въ видъ голыхъ истинъ и точныхъ опредвленій.

Въ виду этого, для характеристики поэта безусловно необходимо внимательно изучить его любимые образы, самыя яркія по-

дробности этихъ образовъ, ихъ колоритъ и то исихологическое освъщение, въ которомъ даются всъ чувствениые элементы творчества. Только въ этомъ случать можно разсчитывать на безспорные выводы; иначе дъло критики сведется къ капризамъ вкуса и слишкомъ субъективной воспримчивости! Надо вполить уяснить себъ сильныя и слабыя стороны поэтическаго таланта, чтобы знать, гдъ можно искать полной искренности и яркаго проявления истинныхъ и живыхъ свойствъ личности. Иоэтому, прежде чъмъ говорить о міровозартній Я. И. Полонскаго, мы постараемся оттънить характерныя особенности образовъ его лирики и объяснить, почему въ эпость и сатиръ онь не имъть и не могъ имъть большого уситха.

H.

Мы указали ибкоторые пріемы поэтическаго творчества, въ сиду которыхъ слово утрачиваетъ свои догическія свойства и становится однимъ изъ элементовъ художественнаго образа, конкретнаго по самой своей сущности. Оно перестаетъ говорить мысли и говоритъ воображенію, ставя передъ нимъ яркое и живое представленіе.

Умънье создавать изъ словъ картины и образы—рѣдкое и исключительное умѣнье; но и въ немъ есть свои степени и градаціи. Иллюстрировать для зрѣнія отдѣльные моменты лирическаго мотива легче, чѣмъ воилотить въ одномъ стройномъ образѣ все лирическое настроеніе и его исихическую подкладку. Въ послѣдиемъ случаѣ мы вадилъ чувство поэта, черезъ образъ смотримъ въ его сердце. Пусть здѣсь опъ говоритъ не о себѣ и не о томъ чувствѣ, которое все содержаніе его сознанія окрашиваетъ своими тонами, но по тому, что онъ видитъ и какъ смотритъ, мы нонимаемъ все, что происходило въ его душѣ и угадываемъ основныя черты его міровоззрѣнія. Правда, это часто только одинъ моментъ изъ сложной и перемѣнчивой исторіи его исихической жизии, но въ этомъ моментѣ можно замѣтить обычныя, постоянныя схемы его воспріятія и его чувства.

Критикъ долженъ быть очень осторожень при сужденіи объ этихъ мастерскихъ произведеніяхъ лирической поэзін; бываютъ случан, когда конкретныя черты образа такъ ярки и такъ опредъленны по своему впутреннему смыслу, что не поддаются воздійствію личнаго чувства поэта, не воспринимають въ себъ тоновъ его настроенія. Это не мънкаетъ лирическому произведенію быть образцовымъ но свъжести красокъ и по яркости впечатлънія; опо даетъ новое доказательство талантливости поэта, по не характеризуетъ обычныхъ свойствъ его чувства и отношенія къ жизни.

Въ этихъ произведеніяхъ замітніве всего черты самобытной

красоты, присущей только этому поэту и опредѣляющей всѣ подробности его работы. Отмѣтимъ пѣсколько такихъ произведеній у г. Полонскаго.

Зной,—и все въ томительномъ поков: Въ пятнахъ свъта тъни спятъ въ аллев: Только чуткой чудител лилеъ, Что гроза тантел въ этомъ зноъ. Влъдная, поникла у балкона, - Ждетъ грозы и чудител ей. бъдной, Что далекой бури призракъ батъдный Сталъ темнъть въ лазури небосклона. Грезы лъта кажутел ей былью, - Грозъ и бурь она еще не знаетъ, Ждетъ... зоветъ... и чутко замираетъ, Золотой осынанная пылью...

Эта лилія живеть всѣмъ зноемъ лѣтияго поддия, который такъ ярко подчеркнуть "иятнами свѣта" въ тѣни аллен. Смутное предчувствіе далекой бури—тоже ударъ кисти, который рельефиће отмъчаеть краски и очертанія лиліи. Осыпанная золотою нылью, она чутко замираеть и дрожить. Все естественно и просто. Нѣтъ ни одной черты, которая нереходила бы обычныя свойства лиліи въ знойный день. Эта правдивость образа, едержанность и осторожность въ выборѣ его подробностей—дають особенный смыслъ той ассоціаціи представленій, которая слагается въ сознаніи читателя на фонѣ этой картины. Глазу даны всѣ конкретные элементы представленія и,—что могло сдѣлать только слово поэта,—всѣ эти элементы живуть предчувствіемъ далекой бури. Краски и линіи пріобрѣтаютъ новый пенхологическій смыслъ. Картина, плѣняя глазъ, дѣйствуеть и на чувство.

Отмътниъ и то, что объектомъ лирическаго мотива является здъсь не личность самого поэта, какъ это чаще всего бываеть въ лирикъ. Эти думы не о себъ; это—думы о блъдной лилін, которая еще не знаеть бурь и грозъ и, предчувствуя первую грозу, путливо никнетъ у балкона. И это сдерживаетъ нашу фантазію, когда мы начинаемъ видъть за лиліею не аллен сада, а сцены жизни, первыя грезы молодости, которыя кажутся былью, и первое предчувствіе бури. Не все, что подошло бы къ этой схемѣ по ся общимъ очертаніямъ, приходить намъ на умъ, а только то, что возбуждаеть такое же глубокое сочувствіе, такую же п'іжную заботливость и тревогу, какими проникнуты всъ подробности и всъ штрихи рисупка. Психическій моменть, воплощенный въ этомъ образъ, самъ но себф сложенъ; онъ создается изъ тонкихъ, едва уловимыхъ ощущеній; но образъ, въ своихъ изящныхъ и тонкихъ линіяхъ, въ своихъ ибжныхъ и неяркихъ краскахъ, даетъ полиую опредъленность всъмъ переходамъ и измъценіямъ чувства.

Не такъ опредъленно и отчетливо обрисовывается на сиъкной пустынъ "угрюмая ель", покрытая "пушистымъ сиъгомъ".
Зимою она жалъла нагую и сухую березку, которой было такъ
жутко и холодно подъ сиъгомъ и стужей. Но когда апръльское
солнце растопило сиъга, когда березка "въ своемъ свъжемъ уборъ"
весело зашумъла,—темная ель "въ своей жесткой зелени", "въ
своемъ старомъ кружевъ сучьевъ", угрюмо смотръла на весений
расцвътъ молодой сосъдки. Съ завистью и недовърчиво она повторяла свои старыя зимийя иъсни.

Всю зиму опа наготой щеголяла... Жалъть ее надо.—жалъть! И какъ вамъ не стыдно ласкать ее, право! И какъ она смъетъ шумъть!

Можно только догадываться, какія явленія жизни стояли передъ сознаніємъ поэта, когда онъ задумаль свою ель и свою березку. Въ конкретномъ матеріалѣ образа не нашлось достаточно красокъ и линій, чтобы отчетливо и ясно обрисовать эти сложныя отпошенія жизни. Скринучіе звуки педовърчивой старости не заглушають словъ той сурово-добродушной ласки, которая нашлась у ели въ дии зимнихъ морозовъ. Привѣтливо встрѣчая весеннее счастье зазеленѣвшей березки, мы не вправѣ порицать и ель, которая знасть, что за лѣтомъ будетъ зима и заранѣе боится за "евѣжій уборъ" нарядной сосѣдки. Впечатльніе не сливается въ одинъ стройный аккордъ; наше чувство двоится и образъ остается загадочнымъ и смутнымъ, хотя въ стихотвореніи звучить одна пзъ самыхъ завѣтныхъ струнъ отзывчивой музы, всегда счастливой чужимъ счастьемъ.

Совершенно другое впечативніе даеть блестящее по отдълки и яркое по мысли стихотвореніе: "Орель и змівя". Это стихотвореніе среди другихь стонть какь-то особнякомь. Можно подумать, что поэть играль здівсь не на своей лирів, хотя играль съ мастерствомъ истиннаго артиста. На скаль, въ тыни зеленыхъ елей, подъ горными мятелями, сіль орель. Извиваясь по темному граниту и сверкая серебристой чешуей, къ нему ползеть змівя. Орлу смівшю, что змівя хочеть подняться такь высоко.

Но змъл ему кротко отвътила: "Изъ-подъ камня горючаго Я давно тебя въ небъ замътила И тебя полюбила могучаго".

Она просить орда взять ее въ свои "желъзные когти", унести ее "въ сферы надзвъздныя", въ царство темныхъ грозъ. Орелъ прижалъ ее къ своему ординому сердцу.

> Полетълъ съ ней въ пространство холодное, Туча грозная съ инмъ повстръчалася,—

Пзгибаясь, змёя подколодная Подъ крыло его робко прижалася. Съ бурей борются крылья орлиныя, Гдё-то молиія близко ударила, Онъ сквозь громъ слышитъ рёчи змѣниыя, Вдругъ—змѣя его въ сердце ужалила... И въ очахъ у орла помутилося, Онъ отъ боли уналъ, какъ подстрѣленный. А змѣя уползла и сокрылася Въ глубинъ, подъ гранитной разсѣлиной.

Здъсь не мъсто говорить, почему это стихотвореніе, при всей его неподражаемой законченности и яркой опредъленности, не выражаеть личности поэта, остается ему чужимь до извъстной степени. Сурово и увъренио очерчены всъ моменты заоблачной драмы. Подъ горными мятелями сумрачныя ели бросають сумрачную тынь. На влажномъ и темномъ гранитъ изгибы змънной чешун отливають серебромъ. По змънному евътятся змънныя глазки, когда она говорить свои "кроткія" рѣчи. И вблизи громовъ и молній, въ смъломъ полетъ, гибиетъ орелъ. Съ безпощадною ясностью мысли поэть ведеть драму къ роковому концу и все сливается въ одномъ сумрачномъ, гордомъ и непримиримомъ аккордъ. Отъ образа въетъ такимъ безнощаднымъ презръніемъ, такой мощью страстнаго, но сдержаннаго негодованія, что носл'ї трагическої емерти орда все змфиное счастье въ гранитной разсфлин тонетъ въ сумракъ жалкаго инчтожества и грязной попілости. Иначе не могло и быть. Орелъ и змъ́я—такъ опредъленны въ своихъ неизмънныхъ свойствахъ, что, кромъ великодуния и въроломства, въ ихъ взаимныхъ отпошеніяхъ ничего другаго и быть не мо жетъ. Здёсь начало зла является въ той холодной наготъ, въ какой оно почти никогда не входить въ лирическіе мотивы Полонскаго. Поэтому здъсь и фабула проще, и драма сильнъе, и ярче идея образа. Конкретныя черты образа такъ жостки, такъ неподатливы сами по себъ, что поэтъ, вглядываясь въ ихъ подробпости, поднялъ строй своей лиры и сорвалъ такой гордый и смълый аккордъ, какой ръдко сдеталъ съ ея струнъ. Также удивительно по исполненію и исключительно по своему содержанію и другое стихотвореніе:

> Пришли и стали тъни ночи На стражъ у монхъ дверей... Смътъй глядитъ мнъ прямо въ очи Глубокій мракъ ея очей.

Это смѣлый до дерзости образъ, который ноказался бы намъ елишкомъ рискованною метафорою, если бы поэтъ не съумѣлъ вполиъ подчинить его своей мысли и выразить имъ въ немногихъ словахъ все упоеніе молодой любви. Мы знаемъ, зачаль при-

шли эти тѣни,—знаемъ, *что* онѣ принесли поэту. Но... и новая метафора, еще смълѣе и еще удачнъе.

Но покачпулись твин почи, Въгутъ, шатаяся, пазадъ: Ея потупленныя очи Уже глядятъ и не глядятъ...

Какъ живыя, стоять эти сумрачныя тыпи на стражь счастья поэта и сохраняють веб свои стихійныя свойства, когда, покачнувшиев, шатаясь, бытуть назадь. Эта стихійная стража подинмаєть тонь стихотворенія и вливаєть мощиую силу въ пламенную молитву поэта:—"О солице, солице, погоди"! Подъ этою тынью сливаются въ одномъ фокусъ отдъльные моменты фабулы и разпородные элементы картины, полной молодаго счастья. Но и здъсь фабула проще, чымь въ другихъ произведеніяхъ поэта, которыя больше соотвытствовали основнымъ чертамъ его духа.

Уже надъ ельпикомъ, изъ-за вершинъ колючихъ, Сіяло золото вечернихъ облаковъ, Когда я рвалъ весломъ густую съть иловучихъ Болотныхъ травъ и водяныхъ цвътовъ. То окружая насъ, то спова разступаясь, Сухими листьями шумъли тростники; И нашъ челиокъ шелъ, медленно качаясь, Межъ топкихъ береговъ излучистой ръки.

Въ этихъ двухъ куплетахъ вся картина вечера на рѣкъ, въ своихъ яркихъ, правдивыхъ и реальныхъ подробностяхъ, въ тонъ вечерияго неба и его мирныхъ и грустныхъ впечатлѣній. Здѣсъ поэтъ и его спутница далеко "отъ клеветы и злобы черни свѣтской"; здѣсь легко ей,—довърчиво и свободно,—высказывать все, что было на душъ.

Но грудь моя тоской невольною сжималась, Я въ глубину глядъль, гдъ тысяча корней Волотныхъ травъ невидимо силеталась, Нодобно тысячъ живыхъ зеленыхъ змъй.

II это напоминло поэту другой, пе такой прекрасный міръ, напоминло ему, что подъ свътлою поверхпостью жизни "суровая тантея глубина".

Не сходя съ челнока, поэть нашель всѣ краски, чтобы описать сложный исихологическій моменть, всѣ элементы слегка намѣченной драмы. Вечеромъ на рѣкѣ пріобрѣтаеть особенный емысль и этоть "безпорядокъ траурныхъ одеждъ", и этоть "пророческій голосъ". Но на диѣ—клубки "живыхъ зеленыхъ змѣй"; поэть не дѣлитъ вѣры и надеждъ своей спутинцы и отдается грустному раздумью.

Ни одной лишией черты, и все, что надо. Этого,—по удачному выражению Бълинскаго,—"нельзя сказать не только лучше,

но даже иначе". Всѣ разнородныя впечатлѣнія сложились въ одинъ свѣтлый образъ, сложный по своему содержанію, простой и ясный по своему топу. Здѣсь мы дышемъ воздухомъ ельника и рѣки, любуясь складками траурныхъ одеждъ и думая съ поэтомъ невольную невеселую думу.

То же мастерство мы видимъ и въ стихотвореніи "На закать"; хотя тамъ картина вечера создается на основъ другихъ, можеть быть, самыхъ завътныхъ думъ поэта.

Вижу я: сизыя съ золотомъ тучи Загромоздили весь западъ; въ ихъ щель Свътитъ заря; каменистыя кручи, Ребра утесовъ, березинкъ и ель Озарены вечеръющимъ блескомъ. Ниже безбрежное море. Изъ милы Темные скачутъ и мчатся валы Съ неумолкаемымъ гуломъ и илескомъ.

Эта картина удивительно гармонируеть со строгимъ и грустнымъ содержаніемъ цѣлаго. Поэть, утомленный жизнью, хочеть встрѣтить теплымъ привѣтомъ ту волиу, которой онъ тщетно ждалъ весь свой день. "Новой волны подожди,—я разбилась" слышится ему безотрадный отвѣть. "Жду... все темно... погасаетъ закатъ".

Зная тотъ послѣдній эффектъ, къ которому ведеть насъ поэть, мы имфемь право предположить, что другой, менфе талантливый, поэть подготовиль бы его не такъ. Выводъ елишкомъ нечаленъ и суровъ и въ сумрачной картинъ вечера мы видимъ тоны суровой красоты и удивительныя по своей правдивости реальныя подробности. Даже это, ръдкое по своему новоду, настрое ніе не заставило фантазію поэта перейти границъ трезвой простоты и естественной правды. Это живая картина, обвъянная живымъ чувствомъ, въ которомъ нътъ ничего надуманнаго и напускнаго. Мы върнмъ ноэту, потому что его глазъ зорокъ, мысль воспрінмчива и гибка, а чувство искренно и просто. Одинъ, слишкомъ смълый, взмахъ фантазін,—и весь эффекть будеть испорченъ. Поэтъ узнаетъ свой закатъ и его сердце "полное безкопечною жаждой", не успоконлось и теперь. Холодомъ вѣетъ отъ озаренныхъ вечеръющимъ блескомъ "реберъ утесовъ и елей"; нѣтъ ничего примфряющаго въ гулф и плескъ валовъ, поднимающихся нзь мглы...

Но всв особенности лирическаго таланта г. Полонскаго яснѣе и отчетливѣе всего оказались въ его лирической поэмѣ: "Кузнечикъ-музыкантъ". Нужна была необычная вѣра въ свои силы. чтобы попытаться воплотить въ образѣ такія сложныя отношенія и такіе переходы драматическаго дѣйствія, какіе создають канву этой поэмы. Обыкновенно лирическія произведенія по объему очень скромны. И это вполить понятно. Сложность психической живни въ смъйть ея моментовъ не легко воплощается въ образъ, который только извъстными своими чертами отвъчаетъ цълямъ поэта. Поэтому въ каждой лирической поэмъ по необходимости являются или элементы аллегоріи, или—для связи—отвлеченныя сужденія и мысли. И въ этой поэмъ сквозь прозрачные покровы образа иногда слишкомъ замътно проглядываетъ другая жизнь, сквозятъ типы и положенія не изъ міра пасъкомыхъ. Но въ основныхъ чертахъ фабула проходить на превосходномъ лирическомъ мотивъ, въ которомъ отразилось пламенное и застънчивое сердце объднаго артиста. Онъ стоить въ центръ поэмы; капризная и кокетливая Сильфида, добродушный и грубоватый гуляка—только разнообразятъ основную мелодію, не возмущая ея элегическаго и граціозно-грустнаго характера.

Яспѣе всего топъ поэмы сказался въ тѣхъ превосходныхъ картинахъ русскаго лѣта, въ которыхъ такъ слышны звуки стыдливой и глубокой тоски, затаенныхъ и непризнанныхъ страданій молодого маэстро.

Эось подинмала алыми перстами Темные покровы почи—и мъстами Въ небъ загорались огленныя пятна. Жизнь, полупроснувшись, слабо и невнятно Бормотала въ рощъ, бормотала въ полъ. Поцълуй сливалея съ ропотомъ неволи Веюду, гдъ лишь только брачныя оковы Рименея были ржавы и не повы. Поцълуй быль звоиче, ропоть быль иъжиъе, Тамъ, гдъ эти цъин были поповъе.

Эти неясные звуки просынающагося утра, эти поцълун и ропотъ неволи красиво оттъняютъ вдохновенныя думы влюбленнаго маэстро, который обдумываетъ виньетку къ злой эпиграммъ, заказанной ему Сильфидой. Онъ еще въритъ въ свою звъзду, надъется тронуть сердце молодой фен своими стихами и музыкой.

Онъ, -- скромный питомецъ поля, --

Поля, гдв лишь тучи подають свой голось, Колосится жатва и сериа ждеть колось,—

далъ въ своемъ сердцѣ мѣсто слишкомъ нарядной, слишкомъ гордой мечтѣ. Онъ не знаетъ жизни,—не знаетъ, что фен росконныхъ цвѣтниковъ цѣнятъ не искусство и не артистовъ. И напрасно его поклонникъ и другъ-гудяка пробовалъ открыть ему глаза.

Солице подинмаеть Изъ-за сосень шаръ свой. Сильно принскаеть Жатву. Сладко нахиеть въ воздухъ гречихой, По ржаному полю утрениичекъ тихій, Вътерокъ, гуляя, росу отрясаетъ,

Быть дождю иль вътру—по росъ гадаетъ,

И шумить соломой, словно безнокоясъ,

И ему колосья кланяются въ поясъ,

А лопухъ, высоко поднимая шишку

Съ въникомъ, изъ листьевъ сдълалъ точно крышку,

Такъ расположилъ ихъ, что подъ ихъ навъсомъ,

Въ жаръ всегда прохладно молодымъ новъсамъ:

Въ сей харчевиъ много всякихъ насъкомыхъ.

Въ этотъ жаркій день быль тамъ и гуляка, который утромъ только даромъ тратилъ слова, стараясь образумить своего талантливаго друга. Въ этотъ жаркій день молодой маэстро искалъ свиданія съ своею Сильфидою и только мучилъ свое сердце, упиваясь милой болтовней легкомысленной кокетки. Ему улыбнулось счастье. Бабочка пригласила его къ себѣ и опъ не помнилъ себя отъ восторга.

Уходя, день ясный плакаль за горою И, роняя слезы, жаркою зарею Изъ-за темной рощи охватиль край нивы, Дию вослъдь глядъла ночь—и переливы Свъта отражались и, дрожа, блуждали По ея ланитамъ. Тихо начинали Выходить свътила, мъсяца предтечи, Передъ божьимъ трономъ зажигая свъчи. Далеко стемиъло море жатвы зыбкой, Грустиая береза обиялася съ лишкой. Призатихла роща. Только дубъ шушукаль, Только гдъ-то дятель кръпкимъ носомъ тукаль. Только гдъ-то струйки смутно ленетали...

Еслибы бъдный кузнечикъ умълъ понимать этотъ языкъ природы, онъ не сталь бы съ такимъ увлеченіемъ дирижировать евоимъ оркестромъ. Онъ бы понядъ, что этотъ вечеръ грозитъ ему новою бъдою. Но онъ, остъпленный страстью, весь отдался своей музъ и любви, и не слышаль, какъ за его синною передавались здыя свътскія сплетин,—не зналь, съ какимъ оскорбительнымъ презръніемъ говорила царица бала объ его дерзкихъ надеждахъ, какъ ловкіе льстецы увъряли Сильфиду, что—завзжій соловей именно ей дасть свою серенаду.—Все,—какъ предсказываль грустный вечеръ, — окончилось драмой. Иностранецъ артисть ногубиль легкомысленную фею. Одинокимъ трупомъ лежала бабочка "подъ корнями красной полевой гвоздики". Върный рыцарь своей Сильфиды, кузнечикъ-музыканть, вмъстъ съ своимъ другомъ-гулякой отправился на поиски. Они нашли молодую фею, положили ее на поенлки и понесли домой, "подъ линки".

Предразсвътный вътеръ, невидимкой въя, Думалъ, что воскреснетъ молодая фея,

Шевелилъ у мертвой легкими крылами, И дышаль въ лицо ей влажными устами, И потомъ далекимъ проносился стономъ, II по ветмъ дорожкамъ отдавался звономъ, Чашечки лиловыхъ цвътиковъ качая. II роса, какъ слезы, холодно сверкая, Медленно стекала съ усиковъ цвътущей Новилики, робко по стволамъ ползущей; И благоухали тысячи растеній: И сквозь дымъ деревья въ видъ привидъній Головой кивали. Тихо раздвигая Облака, встала зорька золотая. И когда все стало яспо отъ улыбы Иламенной богини, принесли подъ лицки Мертвую Сильфиду; — тамъ ее сложили, Вырыли могилу и похоронили. И, когда надъ этой новою могилой Думаль злую думу мой артисть унылый, Въ жаркихъ искрахъ солица за лъсной куртиной Звучно раздавался рокотъ соловыный.

Этотъ соловыный рокотъ насмѣшливо и влобно отдавался въ сердцѣ унылаго маэстро. И что могло утѣшить его въ этой утратѣ? И мертвая была хороша Сильфида; вся природа—и вѣтеръ, и роса, и золотая зорька,—казалось, оплакивали ея смерть; красивы и граціозны были всѣ подробности ея похорошъ. Но развѣ это утѣшеніе?

На томъ колосистомъ полъ, гдъ любилъ и страдалъ кузнечикъ,—въ дуилѣ, подъ липками, гдѣ проводила лѣто избаловацная Сильфида, — собпралось такое же пестрое и многолюдное общество, какъ въ любомъ городъ или модномъ курортъ. Вотъ мошка, которая грозить съ помощью науки умертвить звуки, созданные артистомъ; навозный жукъ, "смуглый, толстый и рогатый, уши отъ простуды затыкая ватой", слушаеть новое произведеніе композитора и, ничего не понявъ толкомъ, разсказываетъ черной козявкт, которая весь день вертится и бьеть баклуши, что "невзраченъ молодой маэстро"; божья коровка ность отъ восторга и падаеть въ обморокъ; муравей, очень ловкій малый со шнуровкою подъ моднымъ жилетомъ, даеть ей нюхать сипртъ въ маленькомъ флаконъ; ночныя бабочки, "въ съренькихъ бурнусахъ, въ бълыхъ перединкахъ и гранатныхъ бусахъ", приходять въ негодованье, "раскусивши повой ибени содержанье". Вотъ аристократическіе черви, которымъ довольно замътить бантикъ или узелъ галстуха, чтобъ на остальное "не глядъть и въ гордомъ пребывать покоъ"; воть женихъ кузины Сильфиды, "который, безъ разбора, запахъ старыхъ сосенъ смъщивалъ съ весеннимъ запахомъ фіалокъ, уважалъ шиповникъ и боялся галокъ"; вотъ смирный таракашекъ, круглый, какъ булка, который готовъ проводить господъ, если

опи ему дадуть "на водку"; воть простоватый свътлякь съ разбитымъ фонаремь, который показываеть дорогу въ лѣсъ; воть лѣсная оса, которая вло и ѣдко распускаеть силетии про вѣтряную Сильфиду. Словомъ, тѣ же типы, которыхъ сколько угодно въ любомъ обществѣ, тѣ же глупые и смѣшные люди, тѣ же научки, пренапвные съ виду, и таракашки, которые такъ любятъ получать "на водку". И здѣсь глупость еще забавиѣе, а мелочность еще смѣшнѣе, потому что цѣль эгонзма, по короткой мѣркъ царства насѣкомыхъ, даже инчтожнѣе, а общественныя традиціи лаже хуже, чѣмъ у людей.

Но все мелочное и смѣшное въ этомъ маленькомъ міркъ безслѣдно исчезаеть, какъ только показывается картина природы, въ голосахъ и звукахъ которой такъ трогательно и грустно звучить одна жалобная нотка, —горе отвергнутой любви и тоска разбитыхъ надеждъ кузнечика. И эта мелаихолически-задумчивая, почти строгая нотка проходить сквозь всю мелодію, уничтожая тривіальные и пошлые тоны дѣйствительности. Этоть основной лирическій мотивъ, объединяя въ себъ всъ элементы поэмы, граціозно и нѣжно звучить своими послѣдними нотами надъ могилой бѣдной феи, пока не начинаютъ раздаваться надъ ней холодныя и блестящія рулады соловьинаго рокота.

HI.

Остановимся пока на этихъ данныхъ. Ихъ довольно, чтобы отмътить самыя существенныя черты техники поэта, наклонъ его вниманія и манеру работы. Но, чтобы уяснить этотъ языкъ образовъ, надо на примърахъ выяснить главныя свойства художественной образности.

Поэтъ видитъ въ жизни не то, что видять обыкновенные люди или, по крайней мъръ, видитъ это не такъ. Если художественный образъ въренъ жизни и самъ себъ, если фантазія поэта въ созданіи его не переходитъ границъ естественности и правды,—все-таки его несовсъмъ обычное дъйствіе на людей, доступныхъ чарахъ поэзіи, основывается не на этой виъшней красотъ и законченности. Скульиторъ своимъ ръзцомъ обводитъ виъшнюю оболочку мраморной глыбы, даетъ фигуру и жестъ, и въ шихъ воплощаетъ моментъ настроенія и чувства. Художникъ шпистъ картину съ ея колоритомъ и тонами, отвъчающими его настроенію и не имъетъ въ виду дальнъйшихъ фазисовъ жизни, ради которыхъ онъ долженъ былъ бы поступиться частными красотами этого момента. Графъ А. Толетой въ своихъ былипахъ хотълъ замънитъ ръзецъ словомъ, пробовалъ стать соперинкомъ скульитора, ловилъ жестъ и линіи пластики, и создать галерею манкеновъ

и красивыхъ куколъ,—пожалуй, годныхъ для балета, но только смъшныхъ и тривіальныхъ въ поэзіи.

Не всякая красивая картича хороша въ контекстъ стихотворенія. Она хороша, если хороша только здѣсь и не подходить къ общему тону другой мелодіи. Если въ поэзіи поза и жестъ заслоняють чувство и личность дѣйствующихъ лиць, то, какъ бы они сами по себѣ ни были красивы, имъ здѣсь не мѣсто, такъ какъ они инчего не говорять воображенію читателя. Поэтъ даетъ свой смыслъ и свое значеніе конкретнымъ элементамъ представленія и образа. Сквозь легкую дымку образа мы видимъ живыя схемы человѣческой жизни. Но эти живыя схемы до своего воплощенія въ образѣ видиы только поэту и скрыты отъ глазъ другихъ, потому что въ обычной жизни, не озаренной творческою мечтою, ихъ иѣтъ. Только съ этой точки зрѣнія и пріобрѣтаютъ свое полное значеніе слова Шиллера:

Was sich nie und nirgends hat begeben, Das allein veraltet nie.

Чтобы убъдиться въ этомъ, надо только вывести "общую мысль" стихотворенія, т. е. перевести художественную конценцію въ формы отвлеченной мысли, или иллюстрировать образъ будничными фактами жизни. Если образъ поэта весь безъ остатка разръпнится въ эту "общую мысль",—стихотвореніе изъ рукъ вонъ плохо. Кто піцетъ житейскихъ коментаріевъ къ образу, тоть не понимаеть поэзіп.

"Въ рунахъ стоптъ: на Сигурда сигурдовъ лишь мечъ",— говоритъ Брингильда у А. Н. Майкова. Мы поймемъ, въ чемъ ноззія и красота "блъдной лилін", у балкона, когда посмотримъ на прозаическій коментарій того же поэта почти къ той же темъ.

Поэть однажды сказалъ "Вопјоит" своей молоденькой сосъдкъ, у которой были "голубенькіе глазки и очень узенькій корсетъ". Съ тъхъ поръ при каждой встръчъ она красиъеть, какъ піопъ, дичится, не говоритъ съ нимъ и не отстаеть отъ маменьки. Чего же она боится? Поэтъ даетъ за нее свой отвътъ: "листы молоденькой осины дрожатъ безъ вътру иногда"...

> Ждетъ... воветъ... и чутко замираетъ, Золотой осыщанная пылью...

Бъдная барышня, какъ она много теряетъ въ сравненіи съ этом лиліею!

Она мило принарядилась; ея дътскій взглядъ поумнълъ; но лицу разлился илънительный румянецъ; сосъдки говорятъ, что она влюблена.—Въ кого?—Поэтъ знастъ въ городкъ "каждый уголокъ". "Проъзжихъ нътъ, — своихъ немного, — чиновниковъ, плу-

товъ, какіе только есть, пемудрено по пальцамъ перечесть... Ка-кого-жь это полубога ты встратила, чтобъ такъ расцвасть"?!..

... И чудится ей, бъдной, Что далекой бури призракъ блъдцый Сталъ темпъть въ дазури небосклона,

И золотая ныль осбла на лепесткахъ лиліи.

Въ городкъ поэтъ какъ будто забылъ, что, когда "заря подъ тучами взошла и загорълась, и смотритъ на дорогу сквозь кусты, какъ блъдны въ ихъ тъпи поникшіе цвъты и какъ въ блестящій пурпуръ грязь одълась".

Онъ, повидимому, забылъ, что говорятъ "въ увздномъ городкъ" о другихъ герояхъ его лиризма? Тамъ говорять, что его "темная ель"—почтенная патронесса, которая любить старыя брюссельскія и венеціанскія кружева, а березка "въ св'яжемъ уборь" ея молоденькая восинтанница, которая постоянно огорчаеть свою благодътельницу, потому что "шумитъ" и любитъ "свъжіе наряды"...-Тамъ говорять, что его орель-спился съ кругу и загубилъ молодость и красоту своей "кроткой жены", дамы пріятной во вевхъ отношеніяхъ. — Говорятъ, что его "музыкантъ-кузнечикъ"-смъщенъ и дерзокъ, потому что осмълился поднять глаза на львицу бомонда... Словомъ, въ этомъ городкъ говорять все, что надо забыть, чтобы наслаждаться его граціозными образами. Туда, гдъ высоко надъ жизнью поднимаются его свътлыя мечты. пътъ дороги силетиъ и злословію, вульгарной насмънкъ и пошнымъ пересудамъ. Опъ подпялъ ихъ надъ грязью жизни, освободиль оть будничныхъ и съренькихъ тоновъ дъйствительности, и сдълалъ въчнымъ то, чего никогда не было.

Покойный Кельсіевъ одной фразой доказаль, что онъ отъ природы не быль способень понимать поэтическія созданія, когда въ своей большой статьѣ: "Я. И. Полонскій, какъ юмористъ" 1), вздумаль разбирать "Кузнечика-музыканта", который будто бы "не удался автору". Ему показалось, что поэть въ своемъ "Кузнечикъ" на кого-то жалуется. "Нѣть инчего комичиѣе мужчины которому женщина отказываеть въ любви. Подобные случан бывають и бывають весьма нерѣдко, но жаловаться на инхъ не голится".

Очевидно, что въ стихахъ опъ понималъ только то, что доступно самому послъдовательному и убъяденному прозанку. Опъ не могъ понять, что часто отвергнутая любовь не бываетъ комичною и не смъшно жаловаться на это. Неужели ему смъшно, что лермонтовскій угрюмый утесъ тихонько плачеть, когда золотая тучка ушла съ его груди? И русалка смъшна, когда она тоскуеть

¹) "Всемірный трудъ". 1868 г., октябрь, стр. 103—114.

надъ сонной рѣкой, когда не знаетъ, зачало витязь чужой стороны остается нѣмъ и холоденъ въ ея объятіяхъ? И смѣшна одинокая сосна, которой все синтея роскошная пальма на далекомъ югѣ? И смѣшенъ кузнечикъ? Критикъ, должно быть, слишкомъ уже смѣшливъ, если смѣется надъ тѣмъ, что у другихъ будитъ совершенио другія чувства.

Въ томъ-то и секреть образа, что онъ будить только то чувство и настроеніе, какое воплотиль въ немъ поэть. Тамъ нѣтъ мѣста смѣху, гдѣ поэтъ тоскуетъ. Смѣшное въ жизни перестаетъ быть смѣшнымъ въ художественномъ воплощеніи. Зависть, злоба и всѣ худшія стороны человѣческаго эгонзма судять то, что дано въ жизни; по образъ поэта, весь живой и во всемъ правдивый, внѣ ихъ компетенціи.

Отсюда каждое истинное художественное произведеніе—смълый и суровый урокъ толив, протесть противь ея рутины и низменности, призывъ къ болье чистому и болье высокому взгляду на людекія отношенія. Каждый истинный поэть "благородить просторожденца",—по выраженію Бенедиктова,—указывая идеальныя очертанія факта. Гейне доказываль, что звъзды умиве цвътовь, потому что онь далеко. Люди топчуть цвыты, потому что цвыты у нихъ подъ ногами. Кельсіевъ ошибся. Образы поэта умны и далеки оть пасъ, какъ звъзды.

Какъ только дѣло касается фактовъ и явленій текущей жизии,—является страсть противорѣчить, спорить и имѣть свое мивиіе. Положимъ, темой будеть отвергнутая любовь. Это очень широкая арена для споровъ. Можно добиваться любви, можно бороться за любовь, заставить любить себя. Вѣдь отвратительный герцогъ Глостеръ добился же любви леди Анны, имѣвшей всть основанія презирать его и ненавидѣть; вѣдь мавръ Отелло увлекъ гордую венеціанскую патриціанку; вѣдь дочь Кочубея полюбила убійну своего отца, еѣдаго Мазену. Но поэтъ говорить объ утесь и тучкѣ, и этимъ сразу кладеть конецъ ненужнымъ предположеніямъ и спорамъ. Утесъ не могъ удержать на своей груди золотой тучки—и передъ стихійнымъ смысломъ этого факта останавливается всякій вопросъ и всякое сомпѣніс.

Въ лирикъ графа А. Толетаго слишкомъ замътны эгоистическіе мотивы чувства, что отнимаетъ отъ его произведеній все обаяніе поэзіи. Читатель получаетъ право судить поэта, а поэть прежде всего долженъ стоять виѣ юрисдикцій толиы. Самая возможность суда надъ нимъ, по кодексу житейской мудрости, лишаетъ его правъ на власть, которая ему нужна для достиженія его высокихъ цѣлей. Въ самомъ дѣлѣ, отчего поэты до сихъ поръ охотно берутъ сюжеты изъ античнаго міра и пользуются мотивами романтизма? Откуда эта любовь къ обстановкъ и костюмамъ чу-

жой стороны, къ "мъстному колориту" далекой жизни? Или это только остатки традиціи и рутины? Отнюдь нъть. Это очень удачный пріемъ-отвлечь вниманіе отъ вульгарныхъ мелочей дъйствительности и сконцентрировать его на основной идеф художественнаго замысла. Пушкинъ взялъ Моцарта и Сальери, чтобы дать превосходную исихологическую картину зависти, хотя можно думать, что недурные экземпляры завистниковь были у него и подъ рукою. Отчего бы Скупаго рыцаря не назвать Плюшкинымь? -Плюшкинъ-для насъ свой брать и, подемънваясь надънимъ, мы объяснили бы его манію условіями жизни того времени, въ въчномъ увидъли бы временное и этимъ лишили бы художественное произведение его высокой серьезности и общечеловъческаго значенія. Отчасти отсюда же объясняются и нъкоторые случаїные аксессуары поэтической техники. И до сихъ поръ у поэтовъ стръда быстръе пули. При вевхъ успъхахъ военнаго дъла, мечъ для поэтовъ отнодь не утратилъ своего значенія. Жрецъ и рабъ, кумиръ и лира давно уже отжили свой въкъ въ прозъ, по до сихъ поръ живы въ поэзіп.

Были елинкомъ прыткіе по своей молодости критики, которые, гордясь усивхами современной цивилизаціи и культуры, видбли въ этомъ черты традиціи и рутины, запоздалое старовърство въ искусствв, что-то такое, что скоро должно безслідно исчезнуть и уступить м'єсто новымъ образамъ и представленіямъ. Этотъ взглядъ доказываеть полное пенониманіе д'вла. Создавая свой образъ, поэтъ имъсть право пользоваться встыми элементами знанія и жизни, лишь бы только достигнуть своей ц'вли, которая большинству даже и не видна.

Успѣхъ вполиф оправдываеть его средства. Мечъ и дира помогають ему коротко, ярко и сильно воплотить въ нихъ свою мысль, потому что внутрений смыслъ ихъ всъмъ ясенъ и прость. Зпѣсь одна черта воспроизводить сложное представленіе и даеть слову такую выразительность и меткость, что поэть получаеть возможность въ немногомъ сказать очень многое. Всемъ попятенъ совътъ-, вложи свой мечъ въ ножны". Всъ знають, что значить, если вождь "отбросилъ свой мечъ". Это сокращенные значки длинной вереницы представлений. И здъсь, среди этихъ лиръ, кумировъ, рабовъ и мечей, мысль по неволф отрфивается отъ прозанческихъ тоновъ будничной жизни, внимание подинмается въ идеальную сферу красоты и правы,—что именно и нужно поэту. Конечно, отрѣніаясь отъ житейской прозы, поэтъ своею послѣднею цѣлью ставить жизненность образа и жизненность его идеи. Классическая красота вибшнихъ очертаній, безъ правдивости наблюденія н жизненности основнаго мотива, скучна и безплодна. Современпое искусство не боится суровыхъ и рѣзкихъ штриховъ, если видить ихъ въ жизни, и не поступится характерною типичностью ради анемичной правильности и мечтательной гармоніи цѣлаго.

Но это только одна сторона красоты и обаянія лирическаго образа. Другая—и почти столь же существенная—основывается не на творчествъ автора, а на воспріятін слушателей и читателей "Каждое художественное произведеніе,—говорить Шопенгауэръ, можетъ производить впечатавніе, только двіїствуя на фантазію зрителя или читателя. Это-основное условіе эстетическаго внечатльнія и поэтому основной законъ всіхъ изящныхъ некусствъ. Изъ этого слъдуеть, что въ художественномъ произведении далеко не все надо давать чувственному воспріятію зрителя: скорже надо давать лишь столько, сколько необходимо для того, чтобы вывести его фантазію на върную дорогу; всегда надо оставить этой фантазін начто такое, что она должна додівлывать сама, и притомъ оставлять ей самое последнее. Поэтому писатель всегда должень оставлять читателю кое-что такое, что тоть должень долумать самь; и Вольтеръ очень върно сказалъ: "секретъ быть скучнымъ-это говорить все". Кромъ того, въ некусствъ самое лучнее слишкомъ духовно для того, чтобы его можно было прямо дать чувствамъ; оно должно возродиться въ фантазін зрителя, хотя и рождено уже въ художественномъ произведении; на этомъ основывается и то. что эскизы великихъ мастеровъ часто производять болъе сильное внечатленіе, чемъ ихъ законченныя картины; къ этому, конечно, присоединяется еще и то преимущество, что эскизы были сдъланы въ одномъ порывъ творчества, въ моменть самой концепціи, тогда какъ законченныя картины (ною вдохновение не могло, конечно, сопровождать ихъ до окончанія) создались только путемъ продолжительныхъ усилій, посредствомъ умной вдумчивости и постоянпой преднамъренности" 1).

Какъ бы ин былъ законченъ во всъхъ своихъ очертаніяхъ тотъ образъ, въ которомъ воилотился лирическій мотивъ поэта, въ немъ много недоговореннаго, много такого, что читатель долженъ додълать въ своей фантазін путемъ личной вдумчивости. Сквозь чувственную оболочку сквозитъ иное содержаніе, —то духовное начало, которое и даетъ смыслъ цълому. Въ темпъ данной мелодін и въ топъ даннаго колорита воображеніе читателя подинмаетъ вереницы личныхъ наблюденій и восноминаній, озаряя ихъ свѣтомъ новаго откровенія. Вотъ ночему читатель не всегда беретъ отъ поэта все, что ему можетъ дать художественный образъ. Чъмъ богаче личный опытъ, чъмъ смълье вдумчивость читателя, тъмъ больше для него содержанія въ стихъ и образъ. Образъ не ста-

¹) "Міръ, какъ воля и представленіе". Т. И. 1894 г. Пер. Н. М. Соколова, етр. 496.

рвется, потому что каждый разъ, когда онъ снова и снова встаеть передъ нашимъ сознаніемъ, мы вливаемъ въ него новое содержаніе. Въ этомъ—залогъ его въчной евъжести и новизны. Если не измъняется слово поэта, то измъняемся мы, и съ каждымъ измъненіемъ иначе представляемъ художественный замыселъ. То, что не дъйствовало на наше чувство прежде, что оставляло насъ спокойными и равнодушными,—встаетъ передъ нами въ сіяніи правды и красоты, когда мы въ жизненномъ опытъ сроднимся съ поэтомъ. Тотъ, кто былъ въ молодости нашимъ любимымъ поэтомъ, сходитъ съ ньедестала, когда мы съ годами "сжигаемъ все, чему покланялись и кланяемся всему, что сжигали". Поэтъ становится или нашимъ другимъ, или нашимъ врагомъ. Спокойно или безстраетно мы смотримъ только на то, къ чему паша душа совсъмъ не лежить.

Эти разочарованія и восторги, конечно, доступны не всёмъ. Тамъ, гдѣ все обезличивается въ рутинѣ житейской мудрости и практическихъ интересовъ,—иѣтъ почвы и для любви къ искусству. Тамъ, гдѣ нѣтъ почвы для возрожденія образа поэта въ личной фантазіи, иѣтъ главнаго условія художественнаго наслажденія. Зато тамъ, гдѣ слово поэта находитъ полный и звучный откликъ, гдѣ умѣютъ смотрѣть на жизнь его глазами и но своему отвѣчать на его вдохновенное слово,—смѣло и стройно поднимается этотъ величавый призракъ, обвѣянный дыханіемъ нетлѣнной красоты.

Но,-какъ мы говорили,-есть только оригинальные и уже поэтому не похожіе на другихъ поэты. Кто не оригиналенъ въ чувствъ и представленіи, тотъ не поэтъ. Отсюда различіе по конкретнымъ элементамъ творчества и по основнымъ мотивамъ лиризма. Имъетъ свое значение самый выборъ образа. Иное дъло угрюмый утесъ, который одиноко плачеть въ пустынъ,—иное дъло блъдная лилія у балкона, которая пугливо ждеть первой льтией грозы. Демонъ, слокойный и гордый въ сознаніи того, что "его никто не любитъ и все живущее клянетъ", и кузнечикъ-артистъ деревенскаго поля, который думаетъ злую думу падъ могилой легкомысленной Сильфиды,—стоять почти на крайнихъ точкахъ контраста. Сумрачно и одиноко тоскуетъ на дикомъ съверъ сосна, когда ей синтся на горючемъ утесъ прекрасная пальма. Ей не нужно сочувствія, она не ищеть утішенія. Но мы любимъ и цънимъ безшабаннаго гуляку, который не покидаетъ въ дии бъды своего тоскующаго друга.

При неограниченной свободъ выбора, поэтъ инстинктивно останавливается на тъхъ чертахъ и тонахъ, которые больше всего отвъчають его настроенію. Золотая ныль на ленесткахъ лилін, шумъ и свъжій нарядъ зазеленъвшей березки, предразсвътный вътеръ, который думаетъ, "что воскреснеть молодая фея",—и

"влажный слъдъ въ морщинъ стараго утеса", его тяжелыя слезы н думы въ пустынъ; сосна на голой вершинъ дикаго съвера и тоска отверженнаго духа въ безграничномъ просторъ годубаго

эфпра-это черты личности и міровоззрюнія.

Спокойно и властно звучить у Пушкина—"Довольно, сокройся"... вслъдъ "послъдней тучъ". Опъ знаетъ зло жизни и, рядомъ со свътными картинами, увъренной рукой рисуетъ черную зависть Сальери, восторги алчности и тревожное раздумье Скупаго рыцаря, лицемъріе и злобу въроломнаго Мазепы, казнь Кочубея, смерть раба у ногъ непобъдимаго владыки, оскорбленное и метительное чувство отца въ "Галубъ". Онъ зритъ на правыхъ и виновныхъ, не въдая ни жалости, ни гивва, какъ старый дьякъ, въ приказахъ посъдълый", хотя и неравнодушно "внимаетъ добру и злу".

Холодомъ и высокомърной гордостью въеть отъ сумрачныхъ и угрюмыхъ образовъ лермонтовскаго вдохновенія. Даже русалка, которая тоскуеть надъ сонной ръкой, тоскуеть одна и не дълить

ни съ къмъ своей нечали.

"Жалобная нотка" слишкомь часто звучить у г. Полонскаго, тоскующаго о весив и счастьв.

> Чтобы ивеня моя разлилась, какъ потокъ, Ясной зорьки она дожидается: Пусть не темная ночь, пусть горящій востокъ Отражается въ ней, отливается. Пусть чиликають вольныя пташки вокругъ, Сонный лъсъ пусть просистся—нарядится, II сова-пусть она не тревожить мой слухь-И, епъная, подальше усядется.

Этой жаждой счастья для встхъ обвтяны вст образы г. Полонскаго. Въ лирикъ онъ чаще поэтъ не своей воли. Съ глубокой ивжностью онъ смотрить на чужое чувство и боится каждой тучки, которая поднимается надъ его батьдною лиліею. И на "закатъ" опъ ищетъ, кого бы встрътить ему теплымъ привътомъ. Ему ненавистна стъпая сова. Онъ отворачивается отъ всякаго зла и горя, не знаеть ненависти, боится бурь и, забывая о себъ, тоскуеть чужой нечалью. Это чувство сложно, что и отразилось въ сложности его образовъ, которые отъ этого утрачиваютъ иногда рельефность и опредъленность.

Только разъ, какъ сарказмъ, какъ ударъ бича, въ его лиризмъ прозвучалъ суровый и безпощадный мотивъ. Змъя ужалила въ сердце горнаго орла и скрылась подъ гранитной разсълиной. Но этотъ холодный и гибвный аккордъ какъ-то случайно сорвался со струнъ его слишкомъ чуткой и отзывчивой на горе

лиры.

IV.

По вибинимъ чертамъ есть ибкоторое сходство между образомъ и аллегоріею, хотя по существу діла аллегорія почти не имбеть ничего общаго съ поэзією. По прямому смыслу конкретныхъ данныхъ мы здісь не поймемъ того, что хочеть сказать авторъ; это—ненужный изворотъ різчи, чтобы отмітить отвлеченпое понятіє, которое лучше всего отражается въ простомъ словъ. Это слишкомъ искусственный и мудреный намекъ на самыя простыя вещи. Прямой и естественной связи между формою и содержаніемъ здібсь нізть. Конкретный значокъ имбеть только условный смысль. Это скучная и искусственная загадка, плодъ праздности и досужей затвійливости.

Яркій прим'єрь самой безжизненной аллегоріи въ русской литературь —это "Драконъ" гр. А. Толстаго. Поэть мучить и дразнить воображение читателя самыми загадочными, самыми причуданвыми подробностями. Мысль пристально и зорко следить за его усердной и, повидимому, очень серьезной работой. И въ результатъ – инчего, какая-то дътская шалость. Этотъ удивительный дракопъ-только предтеча, т. е. символъ свирънаго кесаря. Стоило изъ-за этого огородъ городить!.. Вся тонкость работы, всв затвійливые узоры хитрой изворотливости только пустая трата времени, потому что произведеніе инчего не потеряло бы и при меньшей виртуозности исполненія. Читать это стихотвореніе второй разъ также трудно, какъ трудно заинтересоваться уже давно разгаданнымъ ребусомъ. За плотными и тяжелыми покровами аллегорін чадить искусственный и тусклый огонекь; за очертаніями художественнаго образа разстилается широкая даль полная жизии и мысли. Здёсь глазь не упирается въ степу, какъ въ аллегорін, а идеть все дальше и дальше, угадывая все новыя и новыя очертанія наміченной перспективы.

Въ виду этого поэтъ, осторожный въ выборъ образа, долженъ быть очень осторожнымъ и въ выборъ той идеи, которую онъ думаетъ воплотить въ образъ. Не всегда безонасно скользить по краю обрыва, гдъ подъ ногами открываются веъ бездиы и ужасы прозы.

II у Я. П. Полонскаго можно подмътить рискованныя по замыслу пьесы. Въ его стихотвореніи "На кораблъ" слышится мотивъ гейневскаго: "Возьми барабанъ и не бойся".

Стихаеть. Ночь темна. Свисти, чтобълмы не спали. Еще вчеранимя гроза не упилась... Фонарь разбить, не видно компаса, направленіе потеряно "въ безлунномъ мракъ".

Неси огня. Звони, свисти, чтобъ мы не спали! Еще вчеращияя гроза не унялась...

Задумчиво стоитъ у руля капитанъ. Но идетъ заря, зажигается день, можно подсчитать потери. Погибло многое, по не все.

Мы мачты укръпимъ, мы паруса подтянемъ, Мы нашимъ топотомъ встревожимъ праздныхъ лънь, И дальше въ путь пойдемъ, и дружно пъсню грянемъ— Господъ, благослови грядущій день!

Гейне, который умблъ превосходно говорить на языкъ образовъ, для этой темы взялъ болъе простые и болъе понятные звуки. И, дъйствительно, здъсь слишкомъ легко сбиться на публицистическій павосъ, заговорить языкомъ трибуна и оратора или, исходя отъ отвлеченной мысли, создать блъдный аллегорическій образъ, гдъ все будеть намекомъ и хитрой притчей.

Поэть сдълаль все, чтобы избълать этой опасности. Чтобы очертить данный моменть общественной жизни, онъ взялъ изъ картины не теоретическое обобщене наличныхъ фактовъ, а только общее настроеніе тъхъ, кто нахолится на этомъ кораблѣ. Образъ не весь цѣликомъ, но все-таки разрѣшается въ прозаическую формулу. При переводѣ на простой языкъ, красивыя подробности теряють отчасти свое значеніе. Топотъ ногъ на палубѣ едва ли разбудить тѣхъ, кто могъ заснуть и въ такую минуту. Это пѣсня времени; какъ такая, она сравнительно бѣдна содержаніемъ и не особенно долговѣчна. Какъ только измѣнятся контуры перспективы, она утратить свое значеніе, хотя въ свое время въ ней можетъ быть, было много наркотическихъ и опьяняющихъ элементовъ.

Въ стихотвореніи "Нагорный ключь" сказалась поэтическая въра г. Полонскаго въ безсмертіе всякой живой силы. Ключъ рвется изъ-подъ ледяныхъ оковъ своихъ родныхъ высотъ, хочетъ разлиться по долинамъ и утолять жажду людей. Пусть не легка дорога, пусть встрътять его скалы и кручи, и между скалами темный провалъ въ бездиу, гдъ отъ въка горятъ подземные огни,—онъ въритъ въ свою нобъду.

У какой инбудь горы
Я стущу мон пары:
Надъ дымящимся жерломъ
Встану темнымъ я столбомъ:
Буду грозно клокотать,
Сърнымъ иламенемъ дыщать
И меня сопровождать
Будутъ молнін и громъ.
Но сдва дучистый видъ

Неба взорь мой происинть, Я не въ грезахъ, наяву Синей тучкой поилыву, Засверкаю жемчугомъ, Упаду косымъ дождемъ, Буду жажду утолять, Ваши силы обновлять.

Этотъ рядъ живыхъ картинъ иллострируетъ одно изъ самыхъ заповъдныхъ върованій поэта; но мотивъ самъ по себъ прозапченъ. Та въра во всякую живую силу, которая лежитъ въ основъ этого стихотворенія, выше этого образа. Она-результать убъжденія, подъ которымъ лежитъ исторія и культура, и поэтому понятна только тъмъ, кто дълить убъжденія и взгляды автора. Здъсь образъ можетъ только сопровождать и иллюстрировать убъжденіе, не поглощая его цътикомъ. А въ этомъ убъжденін такъ много теоретическаго содержанія, что оно не можеть объединиться въ предълахъ только настроенія поэта; здісь нужны доказательства и поясненія. Поэтому здісь образь предполагаеть уже опредбленную точку зрвнія и опредбленные взгляды; какъ такой, онъ доступенъ критикъ и возраженіямъ. Всъ эти черты дишають образь епокойной красоты н безепорной правды. А образы поэта должны быть вфчны, какъ жизнь, которая ихъ создала, доступны и понятны всемь, не обусловлены субъективными элементами міросозерцанія и историческаго момента.

Самая страстность мотива не отвѣчаеть свойствамъ темы. Всѣ вулканы и гейзеры менѣе иламенны, чѣмъ простыя слова Шамиссо— "Слышншь? полночь! Этимъ звономъ" и т. д. Здюсь сила страстности — въ отрицаніи; страстность же въ положительной формулѣ идеала неестественна и поэтому лишена силы. Въ стихотвореніяхъ на эти темы "жгутъ сердца" звуки негодующей сатиры и гнѣвнаго протеста, чтд, конечно, не вмѣщается въ спокойныхъ очертаніяхъ художественнаго образа. Большіе мастера такихъ пѣсенъ, какъ Гейне и Шамиссо, говорили не умиленными возгласами вѣры и восторга. Это смѣлый мотивъ другихъ формъ и видовъ лирической пѣсни, гдъ вѣнокъ дается не столько за красоту творчества, сколько за гражданскія заслуги.

1.

Единство впечатлѣнія,—какъ отраженіе единства въ настроеніи поэта, воплощающаго въ предблахъ даннаго момента всю свою личность,—требуетъ того, чтобы всѣ подробности и штрихи соотвѣтствовали смыслу и духу конечнаго эффекта. Это — общій законъ для всѣхъ поэтовъ; но понимаютъ его не всегда одинаково.

Плохой поэть, подготовияя постёднній аккордь, становится рабомъ своей темы, торопится къ концу и въ выборѣ подробностей обнаруживаеть слишкомъ много щепетильности и педантизма. Примъръ этого-наши молодые поэты пессимистическаго пошнов, которые такъ сгущають мрачныя краски, что ихъ уныніе, не въ мъру преувеличенное, не трогаеть, а смъшить. Въ картинахъ изъ прошлаго они пользуются только данными археологіи. Пирамиды, ефинксы, обелиски, гіероглифы, лотосъ, Нилъ—надежные аксессуары "мъстнаго колорита египетской жизни" и поэтъ, подавленный своей эрудиціей, не рискуеть искать, на свой страхъ и на свою отвътственность, другихъ подробностей картины. Въ стихотвореніяхъ на античныя темы—почти не бываетъ зари; вмѣсто нея всегда торжественно выступаеть Эось или Аврора, какъ будто грекъ всегда и на все смотрълъ только сквозь дымку своей минологін. Картина становится одноцевтною и монотонною, манера работы — сухой и жесткой, и поэть подъ ношей своего сюжета, какъ заморенная кляча, бъжитъ къ призовому столбу конечнаго эффекта.

Крупный поэть, увъренный въ своихъ силахъ, спокойно и свободно, широкой кистью рисуетъ перспективу драмы и въ подробностяхъ рисунка воплощаетъ свое личное отношение къ темъ. Въ этомъ отношении г. Полонскій обнаруживаетъ ръдкое мастерство и особенную, только ему присущую, своеобразность техники.

Мы въ Египтъ. Въ Мемфисъ, въ храмъ Изиды, стоитъ кумиръ, закрытый со всъхъ сторонъ таниственнымъ покрываломъ. Это—"Закрытая истина". Два грека вошли въ храмъ съ дерзкой ръшимостью поднять со статуи богини "дъвственный покровъ", который, "въ тысячъ неуловимыхъ складокъ" спускался съ головы до подножія пьедестала. До сихъ поръ только одинъ безстращный безумецъ дерзнулъ поднять святое покрывало; но, когда онъ отошелъ отъ богини, онъ шкого не узналъ и съ тъхъ поръ никто не понималъ его странныхъ ръчей. Старый жрецъ при входъ въ храмъ ждетъ, съ чъмъ выдутъ эти дерзкіе греки. Мы на порогъ великой тайны.

День вечербать. Вершины пирамидъ
Своими верхними ступенями сіяли:
Дворцовыхъ лъстницъ простывалъ гранитъ:
Межь дальнихъ отмелей кой-гдть едва мелькали
Повисшіе надъ Ниломъ паруса;
Слетались ибисы на гнъзда. Тъпь ложилась,
Какъ будто для того, чтобъ ярче золотилась
Заря, и пурпуромъ сквозили небеса.
На роскошь приближающейся ночи
Глядъли сфинксовъ каменныя очи,

И тайной въяло отъ царственныхъ могилъ... Изиды храмъ еще отворенъ былъ.

Вполив понятны эти торжественные и тапиственные штрихи картины: вершины пирамидь, остывающій гранить дворцовыхь льстниць, каменныя очи сфинксовь. Здысь открывается великая тайна храма Изиды. Но зачымь эти паруса надь Ниломь? Зачымь эти ибисы, которые слетаются на гизада? Какъ всегда, ставить свой парусь рыбакъ и ибисы заботятся о своемь выводкы, хотя въ тапиственномъ полумракы храма открывается величайшая тайна знанія и мудрости. Кстати ли эти подробности трудовой жизни и мирнаго вечера, когда сейчась же должно прозвучать великое и тапиственное слово? Не задерживають ли опь дыйствія, не нарушають ли общаго колорита картины?

Книжный поэть, конечно, побоядся бы этихъ ибисовъ и нарусовъ. Они показались бы ему ниже его фантазіи на егинетскія темы. Но здюсь это—начало скентицизма, невърія въ тайны закрытой истины. Пусть дерзкіе греки, въ безумной жаждѣ истины, рискуютъ всѣмъ, чтобы разгадать "загадку всѣхъ загадокъ" и постигнуть "тайну всѣхъ вѣковъ",—рыбакъ все-таки бросаетъ свой неводъ и ибисъ вечеромъ летитъ на гиѣздо, потому что истины въ храмъ Изиды июмъ и греки не несутъ оттуда великой тайны. Такъ думаетъ поэтъ, хотя старый крецъ нока и не дѣлить съ нимъ этой вѣры, потому что онъ жедемъ грековъ.

И греки вышли. Одинъ сіяль торжествомъ. Истина, — какъ видѣль онъ, —, гармонія, свѣть, сила, красота". Другой быль блѣденъ и уныль; истина, — какъ онъ узналь, — "скелеть, нетлѣнный символь уничтоженія всего". И поэть быль правъ. Эта двойственность загадочнаго откровенія могла разрѣшиться только скептическимъ выводомъ. Маститый жрецъ долго наблюдалъ движеніе свѣтиль и, наконецъ, сказаль въ какомъ-то "пророческомъ томленьи":

— Духъ творчества! И ты, духъ темный разрушенья! Одно стремленье васъ когда инбудь сроднитъ. Враждуйте—потому, что истина иолициъ! Когда жъ съ народами она заговоритъ, Міръ вашу старую вражду, какъ сонъ, забудетъ. Но боги—что тогда? Ужель тогда не будетъ Ни храма этого, ни этихъ пирамидъ?

Но мы уже видкли этоть выводъ. Мы знали уже, что истина еще молчить и предчувствовали, что этого храма не будеть, когда заговорить она съ людьми. По подробностямъ картины мы могли догадаться, что истины иътъ, хотя, можетъ быть, она еще и будеть... Маленькія реальныя подробности внесли въ эту картину больше жизин и свъта, чъмъ всъ историческія и археологическія детали.

Съ этой стороны заслуживаеть особеннаго вниманія стихотвореніе "Казимиръ Великій". Его тема очень эффектна—смѣлая иѣсня о голодѣ иѣвца изъ народа и гиѣвъ великаго короля на корыстныхъ нановъ. Какой просторъ для нарядной фантазіи тѣхъ ноэтовъ, которые такъ охотно берутъ на прокатъ красоту изъ оперы и балета! Сколько гордости и ослѣпительнаго блеска припасено на такіе случаи у пѣвцовъ, падкихъ на все исключительное и рѣдкое! Скальдъ, который поетъ свои три пѣсни могучему Освальду, не идетъ, а "выступаетъ" на царскую рѣчь, съ мечемъ у пояса, съ арфой подъ мышкой. Слѣпой пѣвецъ у гр. А. Толстаго перерождается въ величавый парентирсъ и нышную гинерболу.

И кажутся царской хламидой на немъ Лохмотья раздранной одежды.

Эти лохмотья затасканной и условной красоты, конечно, по илечу тому, кто не умъеть смотръть своими глазами и не носить въ себъ личнаго чутья и критерія поэзіи и красоты. Для пло-хаго поэта это—опасная тема, потому что на ней пробовали и пробують свои силы и большіе, и маленькіе поэты; всъ удобства илагіата здѣсь особенно соблазнительны. Если всѣ люди склонны думать, что и обстановка великаго пособія должна быть величавой и внушительной, то особенно склонны къ этому поэты, муза которыхъ одержима маніей величія. Чтобы видѣть великое въ простомъ, надо быть иѣвцомъ своей красоты.

Яркость и самобытность дарованія Полонскаго находить свое лучшее доказательство въ томъ, что онъ совершенно по своему справился съ этомъ труднымъ и рискованнымъ сюжетомъ.

Съ обычной точки зрънія, возвращеніе съ охоты, по логикъ сюжета, ненужная и излишняя подробность. Эта картина какъ будто понижаєть строй гордаго и смѣдаго мотива. А если уже и было необходимо взять ее исходиымъ моментомъ, то къ чему эти будничныя подробности — "расписныя сани, покрытыя ковромъ", "боевая бурка на распашку", "позвонки на хомутахъ" и особенно — "изъ саней торчатъ собачьи морды, свѣсилась оленья голова"? Все это слишкомъ заурядно и просто, слишкомъ невыразительно въ поэмѣ, центръ которой — всепобѣдныя чары могучей иъспи. Такъ кажется съ шаблонной точки зрѣпія опытныхъ пѣвцовъ "всего великаго и прекраспаго въ мірѣ".

Но это возвращение съ охоты у Полонскаго—серьезный и безусловно нужный моменть въ развити основной мысли. Данъ темпъ мелодіи, мѣрка нашихъ представленій и ожиданій; сразу и мѣтко установлена точка зрѣнія на смыслъ дѣйствія. Казимиръ не нервый разъ такъ возвращается въ Краковъ подъ веселые звуки охотинчьяго поѣзда. Весело брянчать звонки на хомутахъ,

весело трубить впереди рогь; съ ласкою склонилась на его могучее плечо молодая королева. Но круль не въ духѣ; опъ насупиль брови и горячо дышеть на морозѣ. Изъ пѣсни гусляра онъ узналь о голодѣ. Ѣдеть ли за ними этоть гусляръ? Пусть онъ споеть магнатамъ, что "спьяна" пѣлъ лѣсникамъ. Это первые раскаты грома; но и по нимъ уже видно, что изъ этой тучи не брызнутъ олимпійскія молніи, которыя низвергли сторукихъ гигантовъ. Мы знаемъ, что мы услышимъ смѣлую пѣсню гусляра, но это не поставить его въ центрѣ событій. На первомъ илапѣ останется великій король,—"хлопскій круль", какъ говорили паны.

Въ Краковскомъ замкъ, на пиру, "Казимиръ сидитъ въ полукафтанъ, подпираетъ бороду рукой".

> Ворода впередъ выходитъ клипомъ, Волосы подстрижены въ кружокъ. Передъ инмъ съ виномъ стоитъ на блюдъ Въ золотой оправъ турій рогъ.

Надъ его "бровями дума бродить, словно тънь отъ тучи грозовой",—но поэтъ уже отнялъ отъ нашего воображения право фантазировать на темы грома и молний. Это не могучий Торъ, не грозный Перунъ, не олимпиский громовержецъ. Мы уже не смъемъ по своему рядить и рисовать королевский гитвъ. Борода клиномъ и волосы въ кружокъ—зовутъ нашу мыслъ къ землъ и земнымъ громамъ, которые несутъ дождь деревенскому полю.

II, когда утомилась пляской королева, "дышеть зноемъ молодая грудь",—она съ ласковой улыбкой идеть къ своему мужу, не боясь признаковъ бури.

- Государь мой, веселье будь!

Воеводы "чинно сфли подъ столбами залы", панны "съ розовой усмъшкой на устахъ" разсълись по ступенькамъ трона и ждутъ.

... И воть на праздникъ королевскій
Сквозь толну идеть, какъ на базарь,
Въ сърой свиткъ, въ обуви ремянной,
Пзъ народа вызванный гусляръ.
Оть него надворной въеть стужей,
Искры снъга тають въ волосахъ,
И, какъ тънь, лежигъ румянецъ сизый
На его обвътренныхъ щекахъ.
Низко передъ царственной четою,
Преклонясь косматой головой,
На ремияхъ новиснувшія гусли
Поддержалъ онъ лъвою рукой.
Правую подобострастно къ сердцу
Онъ прижалъ, отдавъ ноклонъ гостямъ...

Это почти жестоко со стороны поэта—отнять всякую свободу отъ нашей фантазін. Еслибы не эти конкретные штрихи, мы по

своему представляли бы себъ пъвца изъ народа,—создали бы, какъ съумъли, образъ пъвца-героя, смълаго и вдохновеннаго въстника народной правды. Наша мысль, изиъженная пъвучими наиъвами величавой и неземной красоты, съ трудомъ нагибается къ этой сърой свиткъ, къ этимъ поринямъ, къ этимъ гуслямъ на ремнъ и особенио къ этому подобострастному жесту при поклопъ гостямъ. Надо признаться, что наши поэты не научили насъ считаться съ реальными чертами жизни, рисуя намъ великія событія.

Но въкартинъ Полонскаго это удивительно смълый и удачный ударъ кисти. Если Казимиръ не владыка олимийскихъ громовъ, то и иъвецъ съ простыми гуслями, вмъсто гремучей лиры, простой парень изъ деревни. Онъ иълъ про старые походы на иъмцевъ и татаръ, пълъ красоту королевы, не зная, чего ждетъ отъ него король. Но король сказалъ свое слово и гусляръ, "какъ плъникъ, дико озираясь, заунывнымъ голосомъ заивлъ".

Это была простая, заунывная пъсня,—пъсня голода, какъ ее ноють въ деревнъ,—безъ искусственныхъ эффектовъ, безъ громкихъ фразъ, полная молчаливой покорности, безъисходнаго горя и жосткаго упрека панамъ, богатъющимъ отъ народной бъды. И она не заслонила отъ насъ крупной фигуры взволнованнаго короля, когда онъ въ гиъвъ, весь багровый, озираетъ опъмъвший ниръ", когда онъ въ поясъ поклонился гусляру "за правду" и "въ подрывъ панской корысти" ръшилъ отпереть "свои амбары"

Это не только не молнін зевесова орла, но даже и не гибвъ нашего Грознаго. Это "громъ въ засуху"; онъ ниже эстетики польскихъ нановъ и ихъ женъ, которые увидѣли въ этомъ "хлопство". Только такой громъ и былъ понятенъ поэту. "Въ засуху" онъ гиъвно провожалъ "молніеносную глыбу тучи", которая безъ дождя "перевалила за лъса".

Никто не скажеть ей спасибо, Съ упрекомъ глядя въ небеса. Ушла!.. Но гдѣ-жъ надъ зломъ побъда? Въ чемъ торжество? Все тотъ же зной— И не осталось даже стъда Отъ бъдной каили дождевой.

Поэтъ мастерски сдержалъ нашу пылкую фантазію, круто отнялъ отъ сюжета всъ безжизненныя черты условнаго величія, всъ декоративные орнаменты ходульной эстетики, и далъ смѣлый урокъ простой правды и простаго добра. Фальшивый въ своемъ мишурномъ блескѣ и риторической пышности, мотивъ этотъ завучалъ на его струнахъ величаво-просто. Это скромное благородство, этотъ порывъ прямаго и горячаго сердца—вылились изъ родника той чистой красоты, откуда черпаетъ свои вдохновенія только поэтъ и за нимъ—никто.

VI.

Критики и рецепзенты Я. И. Полонскаго не разъ пытались понять особенности его "фантастичности", дивились силъ и смълости его воображенія.

"Это фантастичность чисто русская, навъянная съверной природой съ ея суровой зимой и продолжительными ночами",—говорить г. L. 1). Едва-ли это достаточно понятно и ясно. Какія же черты "съверной фантастичности" имъетъ критикъ въ виду? Да это невърно и по существу. "Наяды", "Статуя (изъ воспоминаній художника)", "Факиръ", "Вавилонское столпотвореніе", "Вакханка и Сатиръ", "Сонъ язычника" и особенно "Кассандра"—даютъ черты вполиъ "южной" фантастичности, если только здъсь можно руководиться географическими терминами и опредъленіями.

Первая особенность "фантастичности" г. Полонскаго—это почти полное отсутствіе фантастичности. Его воображеніе почти всегда остается въ предълахъ земнаго существованія и сторонится отъ выходцевъ загробнаго міра; онъ работаетъ безъ помощи демоновъ и привидъній. Мы говоримъ почти, потому что безъ этого фактора не обойтись ни одному изъ поэтовъ: можно указать кое-что по этой части и у Полонскаго, помня, однако, что у него вообще фантастичность сведена до тіпішима. Но и здѣсь поэтъ оригиналенъ; у него каждый разъ фантастическіе элементы стоятъ передъ сознаніемъ педолго и всѣ безъ остатка разрѣшаются въ самыя простыя, естественныя и реальныя величины.

Мы считаемъ нужнымъ отмътить и эту сторону его поэтической техники, такъ какъ и это отчасти помогаетъ уяснить его міровозаръніе.

Мельникъ *ет поживлья* заснулъ въ телъ́гъ и ебился съ дороги. Его сынишка напрасно старается разбудить батьку. Лъсъ становится глуше.

Что тамъ? Не мъсяцъ ли веходитъ? Али съ зажженой дучиною бъсъ Между деревьями бродитъ?—

Такъ, чисто по русски, воображение ребенка оживляютъ тем-

Что ты боишься! Чего ты кричишь! Это костры зажигають; Черезъ огии дъвки прыгають,—слышь,— Наши ребята-гуляють...

¹) "Голосъ", 1876 г., № 139.

Но ребенокъ видитъ другіе отни:—сквозь дымъ, черезъ отни, скачутъ въдьмы, въ телъгу глядитъ морда лъшаго.—"Батька, мнъ страшно,—ребенокъ кричитъ".

Что тутъ за страсти! Откуда ты взялъ?

Билъ я тебя,—билъ, да мало!
Что за бъда, что народъ загулялъ
Въ ночь полъ Ивана Кунала!

Изъ лъсу идетъ и поетъ, распустивъ косы, старшая дочка мельника; парень ловитъ ее сзади рукой. Мельникъ останавливаетъ дочку.

— Батюшка, батюшка!—молвила дочь.— Дай ужъ ты мив нагуляться, -Такъ нагуляться, чтобъ было не въ мочь Завтра съ постели подняться.

Идеть, вся разгоръвшись, и его меньшая дочка; рубашка льнеть къ ея тълу. "Загуляю, занью злую неволю, кручину свою",— приговариваеть она.—Мельникъ сталъ слъзать съ телъги, чтобы проучить своихъ загулявшихъ дочерей; но, "оскаливши зубы", его остановилъ кумъ и позвалъ вмъстъ вышить съ горя. Мальчикъ старается остановить своего батьку, потому что это "не кумъ".

Мельингъ не слышить—и съ кумомъ своимъ Стать за кострами теряться.

Хохоть, какъ буря, пропесся за нимъ: Начали тъни сгущаться:

И красноватыми пятнами сталъ Дымъ пропадать-пропадать и пропалъ.

Только туманъ изъ-за низменныхъ иней Смутно бътъть, да во мракъ Дождикъ дробилъ по листамъ, да ручей Глухо ворчалъ въ буеракъ.

Изръдка воздухъ ночной допосилъ Норохъ проспувшихся галокъ.

Удивительно сильное внечатлъніе производить этоть крутой переходь отъ тапиственныхъ призраковъ купальской ночи къ самымъ простымъ и реальнымъ чертамъ ранняго утра. Арена купальскаго разгула опустъла. Слышенъ шорохъ галокъ, дробитъ по листамъ дождь, глухо ворчить въ буеракъ ручей. Но въ этихъ живыхъ и простыхъ звукахъ чудится что-то пеладное, темное, загадочное; по иперціи, фантазія, все еще обвъянная видъніями почной нечисти, съ удивленнымъ ужасомъ смотрить на съренькую картину ятьса въ ненастье. Становится какъ-то еще странитье, еще ужаситье на этомъ пепелицъ отгоръвнихъ костровъ. Кажется, что не туманъ, а все еще дымъ стелется по инзинъ. Жутко ждень новыхъ раскатовъ безинабашнаго хохота и криковъ пьяной ночног

вакханалін. Воть почему такъ болъзненно и безпомощно, такъ робко и ръзко звучить по лъсу крикъ покинутаго ребенка.

Слухи пошли по деревнъ, какъ бъсъ
Душу сгубилъ. Толковали;
"Чортъ ли понесъ къ ночи цьянаго въ лъсъ?
Иьянъ такъ отъ лъсу подалъ"!
Но и донынъ душа старика
Стонетъ въ лъсу позади кабака.

Съ рѣдкимъ мастерствомъ разсказана эта деревенская баллада. Послъдній куплеть естественно и просто заключаеть полуфантастическую драму въ лѣсу, гдѣ вѣдьмы, лѣшій и подозрительный кумъ—живые яркою жизнью русскихъ повѣрій—набросили свои причудливыя тѣни на фактъ, который, можеть быть, понятенъ и безъ ихъ сатанинскихъ обольщеній, хотя, копечно, всякое естественное объясненіе только убило бы въ немъ цереливы поэзіи.

Но надо помнить, что въдьмы и лъшій—образы, такъ сказать, обиходной крестьянской нечисти и,—что очень важно,—не выходцы изъ могилы; они живы и ничего не говорять о смерти. Въ балладъ они занимають сравнительно скромное мъсто. Разгульныя и хмъльныя ръчи мельниковыхъ дочекъ ярче рисують оргіи безпутной ночи. И лучшій эффекть стихотворенія—это смълый и мастерской переходъ отъ фантазіи къ дъйствительности.

Здѣсь, впрочемъ, поэтъ пользовался уже готовыми образами пародной фантазіи. Въ стихотвореніи же "Симеонъ, царь болгарскій" онъ создавалъ фантастическіе элементы за свой счетъ и поэтому основныя свойства его "фантастичности"—ясиѣе. Это, безукоризненное по формъ стихотвореніе, по духу чуждо лирѣ Полонскаго; только здѣсь поэтъ ставитъ болгарскому царю въ випу, что онъ "опустилъ свой мечъ"; но это не помѣшало ему съ ръдкимъ искусствомъ справиться съ темой. На грозный призывъ Симеона, властитель Византіи, императоръ Романъ, "блѣденъ, золъ и молчаливъ", плыветъ черезъ заливъ "въ позолоченной триремъ".

Опъ къ царю плыветь съ дарами,— Отверпулся отъ гребцовъ. По гербамъ и горностаямъ Ходитъ тънь отъ парусовъ,

Отчеркнувъ этимъ живымъ и мъткимъ штрихомъ общее впечатлъніе императорскаго переъзда, поэтъ картинио рпсуетъ хитрую ръчь византійской дипломатіи. Романъ

Взоры клопить и возводить, И величественно льстить, И царю напоминаеть, Что Богь миловать велить. Миръ заключенъ. Въ полночь, опередивъ воеводъ и копьеносцевъ, Симеонъ * Вдетъ въ свой стапъ. Вдругъ, на каменномъ уступъ древняго храма—

Встала тънь: монахъ какой-то, Съдовласый, съ костылемъ: Бълый крестъ на черной рясъ, Запахъ ладана кругомъ. Видно, грекъ: на блъдномъ ликъ Выраженіе тоски,— И повисъ рукавъ широкій Вдоль протянутой руки.

Въ лунномъ свътъ полночи раздается "полу-ропотъ, полустопъ", —голосъ таниственнаго "инока", который пророчитъ рабство и горе болгарскому народу. Въ этомъ инокъ гораздо больше жизни, чъмъ въ привидъніяхъ и призракахъ, чъмъ въ образахъ народной фантазіи, которые сполна исчерпываются своими традиціонными и условными признаками и аттрибутами. Костыль, широкій рукавъ рясы и бълый крестъ на груди—черты не призрачной, не кажущейся жизни. Еще недавно пъна царьградскихъ винъ лилась на ковры императорской ставки, скръиляя "долгій миръ двухъ монарховъ". Теперь открылась обратная сторона договора. Ц,

> ... почуя въщій страхъ, Симеонъ рванулъ браздами И привсталъ на стременахъ, И стремглавъ промчался мимо, Какъ отъ встръчи съ мертвецомъ, Отъ измънника-пророка Заслонивъ себя щитомъ.

Сквозь этоть превосходный образь мы видимъ, какъ глубоко "содрогнулся" Симеонъ, когда новая мысль молніей озарида его умъ,—видимъ, съ какимъ ужасомъ и тревогой онъ старалея "заслониться" отъ страшной думы. Это предположеніе невольно приходитъ на умъ, какъ только начинаетъ говорить съдой монахъ "съ тоской на блъдномъ ликъ": все фантастическое въ немъ, заслоняясь суровой правдой его укоризны, не оставляетъ никакихъ слъдовъ въ нашемъ сознаніи. Подавленные серьезностью пророчества, мы забываемъ спросить у поэта: что же это былъ за инокъ?—и во всъ глаза смотримъ на "въщій страхъ" испуганнаго Симеона.

По нашему мивнію, фантастичиве всего у г. Полонскаго его фантазін на астрономическія темы, но и онв всегда имвють подъсобою предположенія и гипотезы науки, что, сдерживая слишкомъ вольный размахъ воображенія, даеть его мечтамъ отпечатокъ простоты и правдивости.

Границы его воображенія—могила съ одной стороны и видимое небо съ другой. Для поэта это очень характерно и скромно,

потому что настоящая фантастичность начинается только за этими предълами.

VII.

Воображеніе поэта, не раскидываясь по туманной дали царства призраковъ, всю свою педюжинную силу вложило въ воспроизведеніе простыхъ и естественныхъ явленій природы и жизни. Здъсь у Полонскаго иѣтъ соперниковъ ни среди сверстниковъ, ни среди молодыхъ поэтовъ. Онъ не миньятюристъ, рисуетъ широко и смъло, и каждый его штрихъ живъ и ясенъ. Вибинее внечатлѣніе всегда ложится на широкое и свободное воспріятіе. Это "не природы праздный соглядатай"; онъ смотритъ, а не подсматриваетъ, чтобы подобрать къ ничтожному и безцвѣтному настроенію случайную конкретную подставку.

Вездъ, и въ его эпосъ, и въ его юмористистическихъ поэмахъ,—фонъ картины прозраченъ и просторенъ; каждое отдъльное впечатлъне выръзывается отчетливо и стройно.

Картины природы въ его "Собакахъ" иногда не уступаютъ описаніямъ деревенскаго лъта въ "Кузнечикъ-музыкантъ", хотя здъсь, по самой цъли работы, его муза не поеть, а воеть, — не иншетъ, а царапаетъ; здъсь, повидимому, иътъ и струнъ, чтобы пъть гимны природъ; но здъсь при нъкоторой странности колорита, щедро раскиданы мастерскіе этюды и эскизы.

Чутко угадывая основной мотивъ общей картины, поэть не знаеть трудностей, когда задается цълью воплотить въ словъ самые сложные и тонкіе оттънки своего наблюденія.

Чтобы достигнуть своей цѣли, поэтъ пользуется самыми простыми словами языка, которыхъ такъ боятся трепированные поэты повой школы.

Въ настоящее время, въ поэзін замѣтна погоня за краснвими словами. Каждое слово у нѣкоторыхъ нзъ молодыхъ поэтовъ, кажется, обвязано розовой ленточкой, вспрыснуто духами, жеманно до приторности и сладко до "совершенно ясной и своеобразной стихотворной нѣвучести рѣчи". Тощій и чахлый словарь въ золотообрѣзномъ нереплетъ этихъ женоподобныхъ евнуховъ ноэзін возникъ изъ ненависти къ шинящимъ и свистящимъ звукамъ, изъ иламенной любви къ южнымъ буквамъ "о" и "и", какъ особенно споспѣшествующимъ шъвучести слова. Это забавное фарисейство хочетъ замѣнить ухомъ глазъ и перезвономъ рифмъмышленіе. Ихъ пѣсии — школьное упражненіе въ иѣніи безъ согласныхъ звуковъ.

VIII.

Природа только тому открываеть свои лучиня тайны, кто умѣеть зорко и вдумчиво смотрѣть въ тайники ея творчества, безъ предвзятой мысли, безъ узкой тенденціи. Чтобы понять ее, надо почти забыть о себѣ. Каждая теорія и система туманной пеленой ложатся между ея тайнами и "созерцающими очами". Поэтому самыя чистыя и самыя тонкія наблюденія надъ жизнью мы собираемъ въ дѣтствѣ.

Такова же и личность каждаго отдъльнаго, сколько инбудь оригинальнаго, человъка. Правда, насъ больше всего интересуеть въ немъ то, что намъ симпатично, отвъчаетъ нашему личному характеру и міровоззрѣнію; но и въ симпатичномъ мы тъмъ лучше угадаемъ все самобытное и свое, чѣмъ меньше будемъ говорить сами и чѣмъ больше будемъ слушать другаго.

Полонскій виолиб обладаеть этимъ художественнымъ тактомъ, этимъ чуткимъ вииманіемъ, когда въ своемъ стихъ передаетъ свои впечатлівнія отъ вдохновившихъ его лицъ. Каждая строчка въ его стихотвореніи на праздникъ Пушкина напоминаетъ намъ то или другое изъ произведеній пашего великаго поэта,—напоминаетъ даже его собственныя выраженія.

Это тотъ "ничтожный міра"; Что, когда бряцала лира, Жегъ сердца намъ, какъ пророкъ.

Онть какъ будто отказывается отъ своего права голоса и даеть слово тому, кто разбудилъ въ немъ вдохновеніе и чувство. И такъ онъ дѣлаетъ всегда. Въ стихотвореніи "Намяти В. М. Гарпина" передъ нами въ общихъ очертаніяхъ встаютъ лучшія произведенія трагически погибинаго писателя.

Везъ крика и безъ сожалънья
Покинуль онъ больной нашъ свътъ:
Его не восторгаль онъ,—нътъ!..
Въ его глазахъ онъ былъ темницей,
Гдъ гордой нальмъ мъста нътъ,
Гдъ такъ роскошенъ пустосвътъ,—
Гдъ нойманной, номятой итицей,
Не въря собственнымъ крыламъ,
Сквозъ стекла потемпъвинхъ рамъ,
Сквозъ дымку чадныхъ испареній,
Напрасно къ свъту рвется геній.
Къ полямъ, къ дубравамъ, къ небесамъ...

Удивительнъе всего, въ этомъ отношении, его стихотворене "На юбилей А. Фета". Ему показалось, что пъсни Фета—"въчныя пъсни", что въ нихъ проснулись и ожили лучшія чары природы.

И онъ въ шести строчкахъ набросалъ величавую и широкую картину міра, которая, по смѣлому размаху фантазін, по тонкому, почти языческому чутью творческихъ силъ природы и по могучему полету вдохновенія, стоитъ виѣ всякаго сравненія.

Ночи текли, звъзды трепетно въ бездну лучи свои съяди... Канали слезы—рыдала любовь,—и алълъ Жаркій разсвъть,—и тъ грезы, что въ сердцъ мы тайно лелъяли, Трель соловья разносила,—и бурей шумълъ Моря сердитаго валь, думы зръли, и ръяли Сърыя чайки... Игру эту боги затъяли...

Конечно, боги—и прежде всего боги Эллады. Эта, повидимому, безпорядочная смфна отдъльныхъ моментовъ нанизана на нить высокаго художественнаго единства;—до дерзости смълое вдохновеніе поэта создало хаотическую картину міра, встр'вчающаго творческія силы Зиждителя-Вевса. Живымъ пантенстическимъ чувствомъ въетъ отъ этой картины. И это не сухой логическій пантензмъ Спинозы, а первобытный наптензмъ Эллады, гдъ все живетъ своимъ богомъ, т. е. всею полнотою своей жизни. Рыдаеть любовь, алѣеть разсвѣть, зрѣють думы, рѣють сѣрыя чайки-и все это сразу, въ одномъ актѣ воспріятія, въ одномъ аккордъ, все въ каждомъ звукъ живой, и вдохновенной иъсии. Все сливается въ одинъ стройный аккордъ, полный космической мощи, обвѣянный хмѣлемъ творческаго вдохновенія и кипучей жизни. Здѣсь слезы—не слезы, рыданія—не рыданія, потому что каждый штрихъ порозиь не имбетъ значенія и получаетъ смыслъ только въ общей мелодін, гдѣ скорби нѣтъ, гдѣ все дышетъ мощью и огнемъ кипучаго, страстнаго и безконечнаго порыва.

Если-бы Фетъ воплотилъ въ своихъ стихахъ столько жизни, и творчества, онъ былъ бы величайнимъ поэтомъ нашего въка. Къ сожалънію, это только мечты Полонскаго о Фетъ, а не самъ Фетъ.

IX.

На всемъ, что мы отмътили въ поэзін Полонскаго,—въ колорить образовь, въ выборь темъ и сюжетовь, въ основныхъ мотивахъ мелодіи,—лежить ясная печать свъжаго и оригинальнаго лирическаго дарованія. Все окращено субъективными тонами личности и настроенія. Чужая жизнь вездъ встаеть въ окраскъ его чувства. И это очень цыню для пониманія и характеристики его музы. По это еще не миные мотивы лирики; это только— и то отчасти—результать его личнаго лиризма, его личнаго опыта, его надеждъ и разочарованій.

Личныя скорби и радости ярко комментирують самый складь его чувства, наклопъ симпатін и общее отношеніе къ жизни съ ея треволненіями и бурями. Чёмъ же было живо сердце поэта? Чего онъ ждаль отъ жизни? Какъ, — завътный вопросъ каждой лирики, —какъ онъ любиль?

Вибств съ Аполнономъ онъ, повидимому, когда-то оправдалъ ръзваго Эрота, олимпійскаго шалуна, когда тотъ бойкой ручонкой сталь бить по гулкимъ и непослушнымъ ему струнамъ на лиръ бога пъсенъ и музыки, — когда въ отвътъ на эти нестройные звуки гиввно сверкнула глазами Минерва, молча потупились музы и лицо встревоженной матери крылатаго бога зардълось румянцемъ смущенія и стыда. Онъ зналь, что дочери смертныхъ и нимфы, жертвы острыхъ стрълъ лукаваго сына Венеры, за это "брянчанье" увънчаютъ его, какъ бога пъсенъ. Но нуждался ли въ этой добродушной синсходительности повелителя музъ самъ поэтъ?

"Пришли и стали тъни почи", "За окномъ въ тъни мелькаетъ русая головка" — это иъсни слишкомъ молодаго и неопытнаго чувства, иъна котораго неудержимо бъетъ черезъ край въ первыхъ восторгахъ пламенной Киприды. Быстро и ярко вспыхиваетъ факелъ Амура и — также быстро гаснетъ. Первыя разочарованія радужной дымкой туманятъ молодое сердце и ласково нашенты, ваютъ легкомысленныя ръчи. Подъ звуки вальса, въ его головъ звенятъ игривые мотивы веселой музы Овидія.

Среди безчистенныхъ забавъ, Среди страданій быстротечныхъ.— Какихъ страстей ты хочешь въчныхъ, Какихъ ты хочешь въчныхъ правъ?

Есть серьезная нотка и въ этой думъ о "въчныхъ правахъ", но подъ звуки вальса она неслышно замираетъ въ легкомъ и насмъщливомъ аккордъ, — сагре florem. "Лови летучія мгновенья и на пустыя увъренья минутнымъ зкаромъ отвъчай".

Но Полонскій не сталь "ибвцомь своего легкомыслія", какъ Овидій. Его скромная и цізломудренная муза строго отвернулась оть веїхть соблазновь эротической лиры. Чувство подиялось надъ уровнемъ "мгновенія", пустило глубокіе корни въ сердцій и скоро зазвенізло серьезными и задушевными нотами. Его "натурщица" дала художнику смізлый и высокій урокъ, поднимая его глаза выше минутной чувственности.

Обожай, какъ душу, тьло!

Посл'в этого чистаго зав'вта, Эроть долженъ быль выпустить изъ своихъ юныхъ рукъ лиру Аполлона, такъ какъ ему не подъ силу повый, серьезный строй струнъ.

Я елужу некусству; чужды Мив приличья свътскихъ дамъ: Какъ онъ, я не скрываюсь -И, когда я раздъваюсь, Раздъвать себя не дамъ.

Но любовь все таки осталась на своемъ высокомъ пьедесталъ,—подъ эгидою Исихеи, съ которою въ умномъ языческомъ миоъ, по волъ верховиаго Юпитера, Эротъ заключилъ узы въчнаго и нерасторжимаго брака. Эта любовь осталась самою живою и свътлою силою жизии.

Умъ емотритъ тысячами глазъ, "Пюбовь глядитъ однимъ: Но нътъ любви,—и гаснетъ жизнь, И дни идывутъ, какъ дымъ!

Поэть знаеть, что "грустнымъ правомъ—надменно презпрать, негодовать и отрицать" — можеть пользоваться только тоть, кто "по неволь", "съ болью нестерпимой" оторваль оть своего сердца "любимыхъ думъ предметь любимый"; въ его зломъ словъ, можеть быть, тантея "съмя грядущихъ благъ". Но безъ этого горькаго опыта никто не вправъ бросать грязью въ это высокое чувство.

Не потому ли осмъять Ты радъ любовь, святыню нашу, Что самъ не въ сплахъ приподнять И смъло выпить эту чашу?

Самъ поэтъ, цѣною личныхъ страданій, пріобрѣлъ это незавидное право — "негодовать и презпрать", хотя и не воспользовался имъ до конца и въ послъднемъ выводъ совеѣмъ отказалея отъ этого права. Поэтъ, оглядываясь на свое прошлос, когда, при мерцаніи безчисленныхъ звѣздъ, въ его сердце холодной дрожью проникла ночная мгла, съ грустью говоритъ:

Миб видълось такъ мало, мало Лучей любви надъ бездной зла...

И были минуты, когда поэтъ боялся этого чувства. Онъ не боится холоднаго и оскорбительнаго отказа, но медлить признаньемъ, потому что

Кто передъ женщиной, рыдая, пасть готовъ, Тотъ не готовъ еще назвать ее своею: Кто съ юныхъ лътъ страстей обуздывалъ языкъ, Кто пріученъ людьми не върить ихъ участью, Кто къ лицемърію привыкъ,— Тому нужна привычка къ счастью.

Суровый опыть, очевидно, унесь много надеждъ и излюзій поэта. Онъ не привыкъ къ счастью, но знаеть, что рапо называть своею ту женщину, передъ которою мы, рыдая, готовы склонить колъ́ни. И онъ медлить, какъ медлиль бы гръ́шпикъ на порогъ́рая, не смъ́я въ́рить своему счастью.

Есть что-то роковое въ этомъ зачарованномъ счастьъ.

Я върю иногда, что мив въ глазахъ твоихъ Читать любовь—была бъ отрада; А иногда мив страшно возлъ нихъ. Какъ темной ночью возлъ клада.

Послъдній стихъ, превосходный въ своемъ лаконизмъ, рисусть вастънчивое, глубокое чувство, которое слишкомъ подно, чтобы быть довърчивымъ.

Поэта мучить безпріютность, гнететь чувство одиночества Онь хочеть върить, но его сердце такъ боится печальнаго разочарованія!.. ІІ онъ торопится набраться дорогими и счастливыми впечатлівніями, чтобы беречь и лелівять ихъ въ своей памяти въ дии, когда онъ, какъ и прежде, будеть одинъ съ своимъ сердцемъ. Въ его "Чивита-Векія" грустно звучить мотивъ Лермонтовскаго стихотворенія: "Тучки пебесныя"...

Въ миломъ лицъ я искатъ предъ разлукою, Нъть ли для сердца чего нибудь новаго...

II понятно, зачѣмъ такъ ревниво и зорко опъ копилъ воспоминанія для своего сердца.

Снова помчуся я въ море шумящее, Новыя пристани ждутъ меня, странника; Лишь для тебя, мое сердце скорбящее, Нътъ родной пристани, какъ для изгнанника.

Но не всѣмъ такъ дороги черты милаго, далекаго лица, не у всѣхъ въ памяти сердца такъ долго хранятся завѣтныя чувства. Подъ звуки колокольчика, подъ мутнымъ дымомъ облаковъ, нередъ его намятью стоптъ "любимыхъ думъ предметъ любимый". Его тамъ ждутъ, его помиятъ, о немъ говорятъ:

II, когда я дремлю, мое сердце не спить, Все по немъ изнывая тоской...

Но... если это не такъ? Если она больна, если все измънилось, поблъднъло, поблекло среди знакомой, намятной ему, обстановки? Что если тамъ говорятся другія ръчи?

> Я, больная, брожу и не взжу къ роднымъ: Побранить меня некому—милаго нвтъ... Лишь старуха ворчить, какъ приходитъ сосъдъ, Оттого, что мнъ вессло съ нимъ...

"Оттого, что мив весело съ нимъ"... тоскливо отзывается въ душт поэта подъ звуки дорожнаго колокольчика.

И ему тяжело, когда въ минуты новаго счастья намять ставить передъ нимъ сны прежней жизни и прежнихъ страданій.

Все, что въ жизни съ улыбкой на встръчу мнъ шло, Все, что время навъкъ отъ меня упесло, Все, что гибло, и все, что стремилось любить—
Ты напомнила мнъ,—помоги позабыть!..

"Помоги позабыть",—если сердце можетъ забыть, что ногибло и что было такъ дорого. И онъ съ грустью, по безъ жалобъ и упрековъ, уходитъ съ дороги, боясь повърить своему сердцу и чужой любви. "Страдая самъ, твоимъ страданьямъ я отозваться не хотълъ"—говоритъ онъ.

Некалъ я счастья, но повършть Не смълъ я счастью своему; Мнъ было легче лицемършть, Чъмъ вършть сердцу твоему.

Недовърчивое и стыдливое чувство, гордое въ своей замкиутости, охотнъе прячется подъ маской, чъмъ въритъ нарядной мечть. Зачъмъ обманывать себя? Развъ можно бороться за любовь, скленвать обломки разбитаго счастья? И поэтъ грустно миритея съ грустной истиной, не хочетъ "запоздалой жалобой бередить свъжую рану"...

"Ты, можеть быть, не рада, что съ тобой остался я вдвоемъ"?—

спрашиваетъ онъ въ минуту прощанья.

Не смущайся! ни о томъ, что было, Ни о томъ, какъ могъ бы я любить, Ни о томъ, какъ это сердце ныло, Я съ тобой не стану говорить.

Ему только жаль покинуть скамью, гдѣ она любитъ предаваться мечтамъ и слушать почнаго соловья;—но онъ никого не винитъ, хотя ложь ппогда ходитъ "въ видѣ женщины милой и скромной".

Самъ я хотъть, самъ я жаждалъ Сладкой отравы обмана... О, глубока была въра!— И глубока была рана!—

"Нѣмой и суровый кумиръ", оковы котораго поэть думаль влачить до смерти, упалъ

> И я же, рабъ его смиренный, Его обломки растопталъ.

Но онъ не признаетъ права за женщиной судить его за прежнія увлеченія и оппібки.

И, слевы позднія роняя, Мнѣ шепчешь: о, какъ ты гръщиль, Какъ низко падаль! Но—святая— Гдъ ты была, когда и жилъ?

На обломкахъ этой любви и этихъ увлеченій выросла другая любовь,—холодная, чуждая "веселой мечты". Она

не грезить, но зато не синть,

Оть нуждъ и золъ тебя спасая, какъ тяжелый, Ударами избитый щить. Не измъню тебъ, какъ старая кольчуга
На старой рыцарской груди;
Въ дни безпрерывныхъ битвъ она върнъе друга,
Но—отъ нея тепла не жди.

Но, отказавшись отъ личнаго счастья, поэтъ съ безконечнымъ сочувствіемъ смотритъ на скорби и счастье любви во встхъ ея искренцихъ и честныхъ проявленіяхъ. Онъ съ нъжною ласкою выслушиваетъ "наивныя жалобы" молоденькой дѣвушки, которой такъ хочется поправиться молодому студенту; студентъ живетъ у нихъ на дачѣ и она нарочно распускаетъ косу, выбъгаетъ къ нему въ садъ въ вѣнкѣ изъ васильковъ, собираетъ но сырой травъ букетъ изъ его любимыхъ цвѣтовъ,—но "инчто не помогаетъ". Онъ

По прежнему сидить, да книги все читаеть, Какъ будто хуже я его неспосныхъ книгь.

Поэть горячо оправдываеть "неотвязную", для которой любовь не была праздной забавой и которая пылко бьется за свои права, не позволяеть соперинцѣ разорвать кровный союзъ. Опъотмѣчаеть роковую силу страсти, которая беззавѣтно пдеть на встрѣчу бѣдѣ и разочарованію. Тихая, безпомощная грусть звучить въ печальномъ признаніи:

Говорить она: обмань твой Я предвижу,—и не лгу, Что тебя возненавидъть И хочу, да не могу.

Еще серьезпве и мучительные драма любви въ "Слы́омъ таперь". "Рекомендованный женой оффиціанта", онъ попаль въ въ игорный притонъ богатой и эффектной барыни. Подъ его рукой "гремя, богъ музыки проснулся", когда онъ нажалъ недаль. Ему вспоминается милая дъвушка, мечты и надежды первой любви, и эти воспоминанія звенятъ и плачуть въ его вдохновенной игръ. Онъ слыпъ и не видитъ, что его молодая любовь—пустая и изиъженная хозяйка этого салона, внакомая съ подозрительными аферистами и дъльцами. Грубая и вульгарная дъйствительность въ упоръ поставлена противъ чистой и красивой мечты артиста.

Что еслибъ онъ прозръдъ,—что еслибы другъ друга Вглядись, они могли съ усиліемъ узнать,— Онъ поблъдивль бы отъ смертельнаго педуга, Она бы—стала хохотать.

Χ.

Исторію личнаго чувства поэта можно прослъдить и на другихъ созданіяхъ его поэзін. Перемѣны этого чувства, по самому его содержацію, всегда мѣняютъ взглядъ на женщину. Какою же является женщина въ его стихотвореніяхъ?

Было время, когда измънчивые переливы капризнаго женскаго сердца были полны для него обаятельной прелести и онъ писалъ въ духъ лермонтовскаго: "Какъ мальчикъ кудрявый, ръзва".

То неправды она не выпосить, То довърчивой правдъ не рада... То клянется, что свъть пенавидить, То, какъ бабочка, въ свъть порхаеть... Кто ея не любиль, тоть не знаеть...

Эти милые противоръчія обаятельной женственности, бъглым тъни женскаго каприза, не всегда будять только счастливый восторгъ и любовное умиленіе. Иногда они цроходять сквозь призму довольно ъдкой насмъшки, и тогда съ легкихъ крыльевъ шаловливой бабочки слетаетъ много золотистой цыли. Превосходно, но своему грустно-насмъщливому лиризму, начало юмористической поэмы "Куклы".

Спрота и вчеращий ребенокъ, Завитой и одътый по модъ, Бълный ангелъ съ завистливой думой И мечтательный бъсъ по природъ,-Вотъ она, что когда то сердито Миъ винмала, потупивши глазки, Для которой оезсонныя думы Наряжаль я въ нестройныя сказки. Въ этихъ сказкахъ правдивая потка Иногда такъ задорно звучала, Что она,-то какъ ангелъ, емущалась, То, какъ бъеъ, свои губки кусала, Ахъ! Когда-то вчеращий ребенокъ Пересталь быть, какъ ангель, предестнымъ, Пересталь быть и бъсомь опаснымъ, И, какъ призракъ, исчезъ въ неизвъстномъ.

Эта смъсь красоты и каприза, добра и зла подсказываеть поэту образы ангела "съ завистливой думой" и мечтательнаго бъса,—пока еще только бъсенка. Но и бъсы растуть и зръють скоро. Когда вакханка бросила къ погамъ поэта измятый вънокъ и съ оскорбительнымъ хохотомъ убъязла къ счастливому сатиру,—когда его сопершикъ, охвативъ цъпкой рукой молодой станъ измъншицы, унесъ ее, какъ свою добычу, въ лъсную чащу,—"вчерашній бъсенокъ" выросъ въ сатану.

Въ женщинъ, когда она молится Владычицъ-Дъвъ, поэтъ видитъ святую и его сердце болитъ. Онъ видитъ въ ней сатану, когда она надменно сверкаетъ на балъ "пожирающимъ взглядомъ, горячимъ румянцемъ данитъ", и—снова болитъ его сердце.

И молю я Владычицу-Дъву, скорбя: Инспоики ей, Владычица-Дъва, терновый вънокъ, Чтобъ ее за страданья, за слезы любя, Я ее ненавильть не могъ. И зову я из тебъ, Сатана! Оглуши. Ослъпи ты ее! Подари ей блестящій вънокъ. Чтобъ, ее пенавидя всей силой души, Я любить ее больше не могъ.

И когда Сатана внялъ этой пламенной мольбъ, поэть создалъ свое превосходное стихотвореніе: "Орелъ и змън". Здѣсь поэтъ сполна воспользовался своимъ грустнымъ правомъ "надменно презирать, негодовать и отрицать". Орелъ, какъ подстръленный, уналъ съ высоты, и змѣя скрылась туда, гдѣ ей и надо быть, откуда ей иѣтъ выхода на гранитныя глыбы горныхъ вершинъ, спряталась въ глубинѣ, подъ гранитной разеѣлиной.

Но въ этотъ мигъ злобной нобъды Аримана—въ лучахъ свъта явилось чудное и доброе лицо Ормузда. Не святая, но женщина земли, съ чистымъ и чуднымъ сердцемъ, достойная беззавътной любви,—воплощение лучшихъ сторонъ женскаго чувства,—спокойно и гордо стала противъ этой обитательницы гранитной разсълины.

То Аспазія, подруга Перикла.

Въ ея домъ подняты завъсы между колоннами, благоухаетъ смола, разбросаны свитки, настроены цитры, расчесаны косы у смуглыхъ рабынь, на столъ ставятъ амфоры,—а она, "словно веъми забытая", молча стоитъ у дверей. Что съ ней?

Площадь отеюда видиа мить, покрытая Тънью сквозныхъ галерей; Пумъ ея замеръ, и—это молчаніе Въ полдень такъ странно, что вновь Сердце мить мучитъ тоска ожиданія, Радость, тревога, любовь. Вуйныхъ Аениъ тишниу изучила я: Это Периклъ говоритъ... Если блъдна и молчитъ его милая, Значитъ весь городъ молчитъ!.. Чу.. Пумъ на илощади... рукоплесканія... Друга вънчаетъ народъ!.. Но и въ лавровомъ вънкъ изъ собранія онъ изъ этой двери придетъ..,

Ее нельзя было бы любить больше, еслибы она была святая, еслибы мы видъли ея слезы и страданія. Она велика своимъ счастьемъ, любовью Перикла,—тѣмъ, что умѣетъ гордиться его выборомъ. И она имѣетъ право быть увѣренной, что ея другъ и "въ лавровомъ вѣикѣ придетъ къ ея двери". Лучшей любви, чѣмъ ея любовь, иѣтъ—и для счастья Перикла она дала все, что можетъ дать женское сердце. Тамъ не нужно святой, гдѣ есть Аснавія, въ сердцѣ которой тантея лучшая святыня человѣка—святыня простой и хорошей женской любви.

И такъ, съ одинаковою силою признаны оба начала дуализма. Но, прежде чъмъ едълать послъдній выводъ изъ этой дилеммы, здъсь необходимо оговориться. Каждый разъ, когда женщина выходила за предълы сферы, отведенной ей обычаемъ и привычкой, поэтъ съ ненамъннымъ сочувствіемъ и съ сердечною заботливостью слъдилъ за ея первыми шагами на новомъ поприщъ. Когда молодая мысль рвалась на просторъ, когда растябиная жизнь, полная лжи и грязи, обнажала евои раны, когда въ расцвътъ красоты вяли самыя чистыя мечты молодости,—проспувшееся женское сердце не знало дасковыхъ словъ и дътскихъ модитвъ. "Изъ-подъ темпыхъ ръсшить, мерцая нытливымъ огнемъ, загоралась мысль" и "жажда правды томила до слезъ", "Духъ отрицанья" попялъ, какая сила въ этой дввущев и, когда подъ его въяніемъ, она горячо повторяла его "туманныя ръчи",-въ ея слабомъ, звенъвшемъ голосъ звучала гордая въра. Но время разбило много надеждъ; ногаели легковърные восторги, всъ разонились по своимъ уголкамъ "для грезъ и для прозы" и она осталась одна—для непосильной борьбы съ заглянувшею къ ней нуждою. Гдъ же она теперь? На западь? Въ родныхъ степяхъ, гдъ нуженъ другой трудъ п въра другаго закала? Все также вършть духу отрицанья? Пойметь ли она,

> Что въ бездић людскихъ заблужденій Лишь только поэть искры сердца найдеть, А искры ума—только геній?

"Что съ ней"?—Съ тоскою спрашиваетъ поэтъ. Куда дълась эта гордая въра, это беззавътное самоотреченіе? Отзывчивый на всякое страданіе, чуткій къ чужой искренности и увлеченію, поэтъ печально считаєтъ эти жертвы духа отрицанія, — того духа который, уже своею скорбью и муками, чуждъ его свътлой и созданной для счастья лиры:

Что миж она?—не жена, не любовница, И не родная миж дочь! Такъ отчего жь ея доля проклятая Спать не даеть миж всю ночь!

Синтея поэту молодость въ душной тюрьмѣ, своды, окно за рѣшеткою, въ сырой полутьмѣ койка, лихорадочно-знойныя очи безъ мысли и слезъ, темныя косы тяжелыхъ, чуть не до полу волосъ, блѣдныя руки на блѣдной груди, сердце безъ тренета и "безъ надеждъ впереди"...

Что мив опа?—Не жена, не любовинца
И не родная мив дочь!
Такъ отчего жь ея образъ страдальческій
Спать не дасть мив всю ночь!

Болталеннымъ диссонансомъ звучить въ душт поэта это сочетаніе въры и гибели, молодости и тюрьмы. Онъ не судить и не увлекается, не ищеть причинъ, не угадываетъ слъдствій, но

ему "не даетъ спать" это молодое страданіе. Опъ чувствуєть, что этого не должно быть, и съ тихой жалобой тоскуєть надъ жертвами въка.

Это—необходимая оговорка; иначе мы рисковали бы навлечь на себя упрекъ въ сознательной односторонности вывода. Но эти аккорды больше рисуютъ міровоззрѣніе, чѣмъ личное чувство поэта. Злѣсь онъ видить въ женщинъ только человъка; а мы говоримъ объ его взглядахъ на женщину, какъ на женщину. Тамъ замѣтны уже другія черты его чувства и мысли.

Два образа почти равной силы стали другъ противъ друга. Это противоржчіе? Нъть. Это дв'я правды, дв'я крайнихъ точки контраста. Надо ли мирить ихъ? Надо ли въ логической формулъ выводить законы и нормы этихъ типовъ? Къ сожалънію, Полонскій сділаль это въ своемъ стихотворенін "Два жребія". Здівсь, повидимому, онъ хотъть подвести прозаическій итогъ своимъ поэтическимъ взглядамъ на женщину. Когда-то критикъ "Отечественныхъ Заинсокъ" 1) поставилъ Я. И. Иолонскому въ вину что онъ не создалъ "ин одного опредъленнаго образа, че формулировалъ ни одного яснаго понятія". Оставимъ на совъсти рецензента, какъ тяжелый камень, эту сбивчивость мысли и путаницу понятій. Отм'втимъ только, что его слова совершенно певърны по существу. Полонскій создаль много яркихь, высокохудожественныхъ образовъ, что и даетъ ему всъ права на званіе петиннаго поэта; но, въ угоду критику, онъ создалъ и два совершенно ясныхъ понятія—"Матрона" и "Вакханка"—и здъсь перешагнулъ границы своего призванія и смішался съ пестрою толною моралистовъ и проповъдниковъ. Въ общихъ чертахъ, его классификація сводится къ двумъ основнымъ категоріямъ-матроны и вакханки, — изъ двоякой комбинаціи которыхъ возникають дальнъйшіе моменты дъленія: — матрона не на своемъ мъсть н вакханка въ случайной роли матроны.—Вводится начало дуализма, Оба типа въ чистомъ видъ имъютъ полное право на существованіе. См'вшеніе типическихъ особенностей-только "роковая крайность", только "безотчетная случайность", нотому что "людямъ роли розданы богами" и для своего счастья "каждый узнавай своихъ боговъ". Взглядъ отшодь не ригористическій и не пуританскій.

"Радуйся" матронъ—отчасти напоминаеть ивкоторые сонеты Шексипра, гдъ великій драматургь, чтобы сломить холодность равнодушной красавицы, горячо доказываеть ей, что первая обязанность женщины—рожать дътей. Это "зиждительница рода"; ея семья—"вътвь цвътущаго народа".

¹⁾ Сентябрь, 1862, стр 46-50.

"Радуйся" вакханкъ—напоминаетъ по содержанію нѣкоторыя элегін Овидія, который, впрочемъ, не видѣль въ этомъ ничего хорошаго.

Радуйся! Самь одимнійскій богъ . На тебя дождемъ червонцевъ льется, И надъ человъчествомь смъстся, Млъя у твоихъ предсетныхъ ногъ.

Овидій хорошо зналь поучительную исторію Данан и вполить понималь смысль мива. Но, почти всегда, — по его собственному признанію, — страдая безденежьемь, онь косо смотръль на этоть "дождь червонцевъ" и патетически тосковаль о простотъ сатурнова въка, когда люди еще не знали золота. — По митьнію Полонскаго, роль вакханки особыхъ трудностей не представляєть.

Умъ ин пуженъ для минутной ласки, Умъ ин пуженъ для веселой пляски, Тамъ, гдъ страстной музыки волна Въ шопотъ и топотъ слышна?!

II для пляски, и для любви, по мивнію Овидія, нужно огромное искусство. Его лукавая подруга, versuta Corinna, на его бъду въ совершенствъ обладала этимъ искусствомъ и съ полнымъ пониманіемъ дъла мучила его бъдное легкомысленное сердце.

Поэтъ скоро́нть о матронѣ, которую судьба бросила на "полупродажное" ложе, нотому что она проклянеть свой "позолоченный позоръ".—Онъ напоминаетъ вакханкѣ въ ночетномъ званіи матрены,

> Что съ огнемъ жаровню подъ цвъты Трудно спритать ради всъхъ приличій,

что она проклянеть свой семейный домъ.

По самому своему замыслу, это — неудачное стихотвореніе. Дидактическіе стихи только изъ любезности относять къ области поэзін, такъ какъ они создаются на сухой и жосткой прозанческой почвѣ и разсчитаны на тѣхъ, кто мгновенно глупѣстъ отъ торжественной декламаціи и высоконарной фразы. Логическія достопиства классификаціи, —хотя бы по категоріи добродѣтели и супружеской вѣрности, —въ ноэзіи смѣшны и педантичны.

Противъ этого стихотворенія любой діалектикъ выдвинетъ цѣлый арсеналь вѣскихъ и серьезныхъ доказательствъ. Если въ
одной и той же женщинѣ замѣтны признаки и святой, и сатаны,—
значитъ, въ каждой матронѣ есть доза вакханки, и наоборотъ.
Примѣры? Ихъ сколько угодно - отъ Евы до нашихъ дней. Не
говоримъ про Беатриче, хотя и она въ своей блаженной славѣ, на
границѣ земнаго рая, какъ земная женщина, ревповала Данте. Но
въ Лаурѣ Петрарки есть черты Коришны, а въ Клеопатрѣ святостъ
красоты пераздѣльно слилась съ сатанинскимъ въроломствомъ

сердца. Далѣе, эта классификація не полпа. Змѣя, которая ужалила орла въ сердце,—едва ли изъ породы вакханокъ. Но что же? Простить ли ее, какъ "зиждительницу рода"? А куда помѣстимъ Аспазію?—Она, конечно, не матрона, но, широко открывая двери Периклу и чаруя его своимъ умомъ, она, конечно, съ презрѣніемъ отшвырнула бы червонцы олимпійскаго бога.

Поэть поставиль на спорную почву идеальные типы, которые по самому существу своему стоять виб критики. Его эмбя и его Аспазія в'ючны и живы, какъ идеальныя нормы жизни; его матрона и вакханка временны и мертвы, какъ схемы догики. Въ погонъ за теоретическою стройностью мысли, поэть отвернулся отъ св'ютаго царства образовъ, гдъ "свои"—только ръдкіе избранники,— и см'юнался съ разношерстной толной моралистовъ, гдъ каждый чувствуеть себя вполить по доманиему.

Но паутина отвлеченной мысли не скроетъ чудной прелести того, что создало могучее воображение поэта въ счастливыя мипуты вдохновения.

XI.

Этими темами далеко еще не исчерпываются лирическіе мотивы Иолонскаго. Его глубоко волновали вопросы правды—въмысли и въмнани,—тѣ высокіе вопросы человѣческаго вѣдѣнія которые характеризуютъ умственный обликъ поэта, отмѣчаютъ существенныя черты его теоретическихъ и философскихъ интересовъ. Чтобы понять эти высокіе мотивы лирики, надо твердо установить посылки для вывода и указать самую удобную точку эрѣнія для изученія міросозерцанія поэта.

Но уже и эти темы достаточно краспоръчиво говорять намъ о томъ, что мы имъемъ дъло съ ярко опредъленнымъ дирическимъ дарованіемъ,—съ поэтомъ, вдохновеніе котораго охотиъе всего отзывается на голосъ чувства.

Приходитея мириться, какъ съ неоспоримымъ, хотя и невеселымъ фактомъ, съ тъмъ выводомъ, что совершенство въ одной области искусства создается на счетъ другихъ видовъ творческой мысли. Могучій ростъ какой либо одной силы духа какъ будто истощаетъ почву сознанія и заглушаетъ другіе творческіе инстишты. Великій лирикъ рѣдко бываетъ хорошимъ драматургомъ. И, наоборотъ, сонеты Шекешра едва ли можно и сравнивать съ его драмами и хрошками. Петрарка, съ его великолѣпными сонетами, напрасно возлагалъ надежды на свое большое по объему, но отноль не великое эпическое произведеніе—Africa. Это—хорошее доказательство того, что школьное дѣленіе поэтическихъ

произведеній: на эносъ, лирику и драму, не произвольно и стоитъ на твердой психологической почвъ. Каждый изъ этихъ видовъ поэзін предполагаеть особыя силы духа, особыя цъли творческаго инстинкта, свои пріемы и средства художественнаго воплощенія. Отсюда, неподражаемое мастерство въ лирикт не объщаеть въ лирическомъ поэтъ великаго мастера въ области эпоса. Эпическій ноэть дальше отходить оть жизни и ея внечатлъній, чъмъ лирикъ. Его сердце бъется спокойиће, его мысль—трезвће, сфера вниманія—шире. Если въ художественномъ созерцаніи лирическаго поэта главнымъ элементомъ является наслаждение живыми чертами любимаго идеала, если струны его лиры скорве всего отзываются на то, что ему симпатично, красиво его красотой, если съ другой стороны гитвъ сатирика загорается при видъ отрицательных и темных сторонъ жизни, отзывается на то, что безобразно, что противоръчить его красотъ и правдъ, то эпическаго поэта одинаково вдохновляють и тѣ, и другія явленія жизни. Его объекть—живая дъйствительность вит идеализаціи и каррикатуры, -- жизнь въ нестромъ и по своему красивомъ смъщеніи добра и зда, благородства и наглости, святости и норока.

Лирикъ, въ минуты подъема своего настроснія, невольно идеализируєть жизнь, впосить въ свой образъ идеально-прекрасныя линін и черты, болъе подчиняясь своему субъективному, почти инстинктивному чутью красоты и художественной правды, чъмъ непосредственнымъ впечатлъніямъ жизни. Красота эпическаго поэта—жизнениъе и почти вся цъликомъ исчерпывается въ словъ

"характерность".

"Темиъ жизни, говорили мы объ этой особенности эпической красоты въ другомъ мъстъ 1), —можетъ по прежнему оставаться очень страстнымъ и глубоко полнымъ, но волны чувства выливаются уже не изъ одного общаго родшика, а изъ многихъ отдъльных струй, сохраняющихъ всю свою индивидуальность; отдъльныя инти ткани сплетаются очень прихотинво и капризно; по дъло поэта —мъткимъ словомъ очертить самые неожиданные изгибы психическаго узла, освътить самыя затаенныя пружины неожиданнаго дъйствія; характерное положеніе, характерное слово, характерный жестъ —словомъ, все удачное въ художественномъ творчествъ, т. е. вырванное изъ самыхъ затаенныхъ пъдръ живаго человъка, —вотъ что вызываетъ захватывающій интересъ къ художественному произведенію, создаетъ тъ чары, то обаяніе поэзіи, которыя мы всегда мыслимъ въ понятіи эстетическаго наслажденія. Эта правда художественнаго замысла, эта мъткость и яркость

¹) Иллюзія поэтическаго творчества. Эпосъ и лирика гр. А. К. Толстаго. Критическое изслъдованіе, стр. 73—74.

художественнаго воплощенія, и создають художественную красоту современнаго творчества"

Отсюда получають большое значеніе вибшиія рамки замысла, фабула поэмы или романа. Правда, нічто подобное фабуліз можно указать и въ лирическихъ произведеніяхъ. Поэтъ рисуеть одинъ моменть изъ своей психической жизни, по по изкоторымъ признакамъ можно угадать прошлое и будущее этого чувства, угадать пичность поэта въ ен постоянныхъ и непзмінныхъ свойствахъ, какъ общую основу и этого момента. Но, расширяя такимъ образомъ понятіе фабулы, мы должны поминть, что въ лирикть ен основныя черты—всегда одить и тъ же, и въ виду этого съуживають поле вииманія и творческой копцепціи. Другое значеніе имфеть фабула въ эпическомъ произведенів.

"Поэть не безь умысла завязываеть иногда запутанный драматическій узель; люди своей воли, полиые то упрямою мыслью, то непобъдимою страстью, сталкиваются на одной дорогъ; дорога узка и на ней нельзя разойтись мирно; надо или уступить, или уничтожить препятствія, или погибнуть; въ эти минуты самыя затаенныя пружины дъятельности человъка, какъ мускулы на рукъ въ моменть наибольшаго усилія, выступають отчетливо и ясно; вырвется петериъливое слово, проснется въ сдержанномъ человъкъ звърь; совъсть запутается въ паутнить софизмовъ, всныхнеть яркимъ лучемъ самоотверженіе,—тъмъ или другимъ способомъ, но озарится таннетвенная лабораторія живой личности и рость человъка будеть намъренъ. Изъ этой фабулы инкто не уйдеть неразгаданнымъ сфинксомъ; и молчаніе можеть стать красноръчньюмъ фактомъ; самаго скрытнаго человъка поэть заставить обмольнься и проговориться".

Конечно, у каждаго талаптливаго писателя есть своя мапера создавать фабулу. Но, какъ ни разнообразны ея виды и варіаціп по своимъ визинимъ и внутреннимъ свойствамъ, каждая фабула сволится къ одной общей схемѣ—къ борьбѣ добра и зла: зла въ людяхъ и въ условіяхъ жизни. До сихъ поръ человѣчество съ ненасытнымъ любонытствомъ смотритъ на это зрѣлище; каждый великій художникъ, въ своей области и въ своихъ типахъ, разрабатываеть эту тему Гдѣ ивтъ этой борьбы,—тамъ только этюдъ, набросокъ, эскивъ картины, а картины ивтъ, какъ ивтъ и серьезности замысла. Отсюда виолить понятно, что хорошимъ эпическимъ инсателемъ можетъ быть только тотъ, кто призналъ въ принципъ и изучилъ въ жизни оба эти начала.

Прежде задача романиета и эническаго поэта была легче, потому что литература считалась почти исключительно со свът-

^{4) &}quot;Палюзін поэтическаго творчества", стр. 150.

лыми сторонами жизни и съ благородными характерами. То была эпоха легковърнаго оптимизма. Теперь наступила реакція. Впиманіе художниковъ и мыслителей остановилось на темныхъ типахъ. Зло признано, какъ начало вполиъ самостоятельное, логически и жизненно самобытное, полное почти неодолимой мощи. Фонъ теорій философа и картинъ романиста сталъ темиъе; простые гръшники и люди природной жестокости и злобы—жизнениъе, а въра въ добро и его побъды стала скрываться и бояться свъта.

Это-въяніе въка, и, какъ таковое, стоить пока вив критики, нбо теперь еще не видны его результаты. Можеть быть, серьезность и топкость наблюдательности, направленной на эти факторы жизни, служить даже залогомъ дучшаго будущаго. Но здась не мъсто входить въ этотъ вопросъ но существу, сводить его на почву философін и этики. Здась мы имаемь ва виду только виашиною сторону дъла; здъсь намъ важенъ только тотъ выводъ, что эническій поэть обязань понимать исихологію зла и знать типическія черты его воплощенія въ жизни. Пушкинъ, въ "Сальери" и "Скуномъ рыцаръ",, указалъ нашимъ поэтамъ дорогу и въ этомъ направленія. На ночві этихъ соображеній и на основанін указанныхъ нами основныхъ мотивовъ лирики Полонскаго, можно а priori предсказать, что принцппы и манера работы эническаго поэта будутъ ему не по душъ, отголкнутъ его своею хододною и невеселою правдою. Мелодія стиха, единство опредбленнаго настроенія и беззав'ятная в'яра въ сиду дюбви и ноб'яду добра стоять, какъ почти неодолимыя преграды, на дорогъ эпической музы. Вереница дъйствующихъ лицъ въ окраскъ одного настроенія, опредъленнаго уже размъромъ и гармоніею стиха, по неводъ утрачиваетъ нидивидуальность и личность. Ноэтъ не философъ; ему пътъ пужды развивать и доказывать свои взгляды; но по его типамъ, но паклону его винманія, критикъ всегда и можеть, и должень угадать основы его міровозэртнія. Эпосъ Полонскаго доказываетъ намъ, что по его взгляду зло-случайный и несамостоятельный факторъ жизни, такое явленіе, которое безследно исчезнеть, когда исчезнеть духъ вражды и разъединенія. Въ его эпосъ пъть дъйствительно влыхъ дюдей и почти изтъ такихъ роковыхъ и гибельныхъ условій жизни, которыя своею устойчивостью и непобъдимостью отипмали бы у людей всв права и надежды на счастье. Въ его фабулъ всъмъ просторно; иътъ борьбы и иътъ трагическаго столиновенія интересовъ и страстей. Это дало новодъ ибкоторымъ изъ критиковъ ноэта упрекать его въ томъ, что основа его эническихъ произведеній сама по себъ случайна и несерьезна, что его поэмы---нпогда только апекдоты въ стихахъ, т. е. интересны по случайнымъ и неожиданнымъ эффектамъ фабулы, а не но личности героевъ и не по серьезности основной мысли художественнаго замысла. Конечно, не это обвиненіе предъявили бы поэту, еслибы онъ захотъть идеализировать своихъ героевъ, высоко поставить ихъ надъ общимъ уровнемъ и указать въ нихъ черты незауряднаго благородства, безупречной чести или исключительнаго отношенія ко всѣмъ явленіямъ жизни. Это одна изъ крайностей творчества и, какъ крайность, была бы вполнъ доступна критикъ, по съ другой стороны и изъ другихъ соображеній.

Но въ этомъ эносъ-изтъ блестящихъ героевъ; дъйствующія лица просты и понадаются въ каждой дюжнив особей изъ даннаго класса общества. Эти люди, —надо прямо сознаться, —дъйствительно не стоять стиховь и лиризма. Съ шихъ доводьно художественной прозы, романа или повъсти, гдъ они, безъ нарядныхъ уборовъ стиха и лиризма, представляють извъстный интересь въ мелочахъ своего будинчнаго обихода и въ съренькихъ тонахъ типичности. Тратить могучія средства ноэзін на этотъ незатьйливый жанръ-это расточительность, оправдать которую нечьмъ. Эти простые добрые люди, интересные въ массъ, въ подробностяхъ быта и безличной заурядности судьбы, сами по себъ скучны и блъдны. Еслибы лирическіе элементы поэта были такъ же необычны и ярки, какъ лиризмъ Байрона съ его надменнымъ презрѣніемъ къ культурному обществу, съ его проклятіями условному лицемфрію высшихъ классовъ европейскихъ народовъ, живописные въ пестротъ своихъ костюмовъ и страстей, полудикіе типы далекихъ странъ рельефиве и значительнъе выдълялись бы на этомъ темпомъ фонъ. Но нашъ поэть синшкомъ скроменъ и правдивъ, слишкомъ благодущенъ для того, чтобы дранироваться въ тогу демоцическаго величія и поступиться реальными подробностями ради эффектовъ балета и оперы. Веб ужасы въ его «Келіоть»—турчанка, замурованная въ тайинкъ, героическій взрывъ баркаса, экзотическіе элементы Авонской горы-чужды душт поэта и какъ-то несерьезны. Не смотря на великолфиный стихъ и превосходные аксессуары, его герои не интересны. Мы равнодушны къ ихъ судьбъ, не можемъ поднять своего воображенія до той черты, чтобы жить ихъжизнью. Полоумный келіоть Кирилль и полуньяный наликарь Стефань Деспо скорфе нанвны, чфмъ загадочны и страшны; въ поэмф, очевидно, ихъ сдружила только прихотливая фантазія поэта. Всѣ картины природы на островахъ греческаго архипелага, всъ сцены жизни воинственныхъ наликаровъ теряють и блескъ, и яркость, потому что ноэтъ правдивъ и реаленъ въ замыслъ. По своему върно и красиво то, что поиъ этихъ инратовъ разучился читать, что Деспо, за отсутствіемь дізна по душі, пьеть и буянить, что больной маньякъ-келіотъ ни съ того, ни съ сего пускается въ рискованное предпріятіе пиратовъ. Но это стъсняеть, конечно, размахъ фантазін поэта и лишаєть его героєвь той почти сказочной фантастичности, при которой только они и могли бы съ достоинствомъ занять центральное мъсто въ лирической поэмъ, задуманной въ духъ байроновскаго романтизма.

Менъе лиризма и болъе эпоса заключается въ «Мими», глъ авторъ, и овидимому, задумалъ дать романъ на общественныя темы въ родъ романовъ Тургенева. Грубоватый и простой, но честный юпоша, Алексъй Гайдуновъ, волею судебъ попадаетъ въ общество чудаковатаго барона Кульгофа, который на чудномъ берегу Средиземнаго моря, въ роскошной виллъ, скучаеть со своею новою подругою Мими, только что начинающею поприще куртизапки. Богатый баронъ чудить и изнемогаеть подъ бременемъ своего послъдняго милліона. Онъ уже на закать своей безпутной жизпи и всь его причуды говорять о близости полнаго рамолисмента. Мими еще не освоилась съ положеніемъ содержанки и вносить въ свою роль иного лишняго. Гайдуновъ, еще не очень твердый въ своемъ нередовомъ катехизисъ, то будируетъ, то ухаживаетъ за Мими и въ концѣ концовъ, къ удивленію наивной ех-гувернанки, — отказывается отъ двадцати тысячъ премін за женитьбу на брошенной содержанкъ. Развъ стоятъ превосходныхъ стиховъ, разбросанныхъ въ поэмъ, эти блъдные силуэты соминтельной идиаліи на лонъ южной природы?

Намъ кажется довольно характернымъ уже то обстоятельство что поэтъ рѣдко доводилъ до конца свои большія вещи. «Свѣжее преданіе»,—«разсказъ сотканный изъюношескихъ восноминаній», остался неоконченнымъ. Камковъ- не герой ноэмы. Трудно понять, почему достойна вниманія судьба этого молодого ученаго. При всемъ своемъ благородствъ, опъ безцвътенъ. Въ общемъ ему везетъ. За нимъ усердно ухаживаетъ одна пикантная баронесса. Его пригласили давать уроки молоденькой княжит Таптыгиной, которая сильно шевелить его сердце. Дъло идеть на ладъ. Судьба посылаеть ему случай стать благодътельнымь геніемъ княжеской семьи. Остальныя главы романа досказаны провой. Самодуръ-киязь, отецъ княжны, выталкиваетъ Камкова на улицу и увозитъ свою Лору въ деревню, гдъ самъ предается оргіямъ, а интересная княжна занимается воспитаніемъ двороваго казачка Илюши и вносить свѣтъ въ мрачную атмосферу кръпостныхъ нравовъ, благословляя за свое просвътление уроки Камкова. Илюша убиваетъ своего барина, отца Лоры, Лора вдеть къ Камкову и застаеть его при смерти. Умирающій Камковъ радуется, что Илюша отмстиль за него и говорить, что убійца—не этоть казачекь, а онь Камковь, потому что это его мысль прошла черезъ голову Лоры въ сознаніе Илюши. Какъ романъ, это "Свъжее преданіе" безцвътно; какъ личныя воспоминанія, оно интересно только для тъхъ, кто лично зналъ Камкова. Можетъ быть, опъ и будилъ энтувіазмъ среди молодежи, но его личность, насколько она отразилась въ разсказъ, не объясняетъ этого энтувіазма. Тоже надо сказать и о поэмъ: "Въ концъ сороковыхъ годовъ" (отрывки изъ ноэмы "Братья"). Героя здѣсь собственно иѣтъ. Игнатъ Илюшинъ—только кацва, но которой проходятъ сцены московскихъ кутежей и римской революціи. Правда, иѣкоторыя подробности написаны очень живо и интересцо, но безцвѣтность героя не объщала интересцой поэмы, еслибы и явились дальпѣйшія главы

Особеннаго-вииманія заслуживаетъ разсказъ въ стихахъ "Анна Галдина", по соображеніямъ, какъ намъ кажется, довольно своеобразнымъ. Можно догадываться, почему поэть остановился именно на этомъ сюжетъ, и есть основанія думать, что онъ обработалъ свой сюжеть не такъ, какъ хотыль прежде, отступивъ отъ своего первоначальнаго плана и измънилъ топъ разсказа. Стихъ поэмы игривъ и боекъ. Кой-гдъ живо быотъ горячія струйки непринуждепнаго и добродушнаго юмора. Но, но мъстамъ, комическія стороны фабулы отступають на задній плань; въ стих в звучить вполив серьезная нотка, и лиризмъ поэмы, не охлаждаясь ледяными струйками юмора, льется торжественно и плавно. Въ общемъ комическій элементъ преобладаетъ и фабула, въ которой даны всв элементы серьезной драмы, сводится къ забавному анекдоту изъ жизни уъздпаго городка. Анна Галдина, ея самодуръ-отецъ, ханжи-тетки, мъстный плутъ и колдунъ Мартынъ Мартыновичъ Ижигинъ-довольно живые и характерные типы увзднаго захолустья. Одичалое изувърство тетокъ, ихъ невольный и потому особенно фанатическій аскетнамъ производять глубокое впечатлівніе па воспрінмчивую душу молодой дъвушки, по кунечески крфико запертой въ своемъ терему-свътелкъ. Первая половина поэмы кончается смертью тетокъ и отца. Анна освобождается отъ тяжелой опеки семьи, но остается затворницей, бонтся "міра" и его соблазновъ, что, впрочемъ, не мъшаетъ ей, разсчетливой по наслъдству, пустить въ евой домъ трактиръ. Повидимому, самъ авторъ чувствовалъ, что на съромъ фонъ будинчной жизни уъзднаго городка нельзя выдвинуть серьезную и сильную фабулу, которая помогла бы Галдиной стать выше рутины и безжизненной обрядности своего захолустья и хоть на время зажить жизнью вольнаго и горячаго сердца, евъять толстый слой кунеческой замкнутости и наноснаго аскетизма. Онъ внесъ въ поэму экзотическій элементь—въ лицѣ Перемѣтьева, московскаго студента. Запоздалая всиышка пеудовлетворенной чувственности охватываетъ пожаромъ сердце старой дѣвы. Это первый узелокъ завязки. Въ чемъ же драма? Въ борьбъ съ привычками и видъніями аскетической морали? Это было бы вполив естественно, по авторъ только слегка и то мимоходомъ тронулъ эти

струны. Аскетизмъ поблъдиълъ и стушевался скоро. Главный вопросъ не въ томъ. Анна подурнъла и уже не молода. Нельзя ли подновить увядающія прелести? Захолустное легковъріе ръшаеть этотъ вопросъ въ утвердительномъ смыслъ. За дъло берется плутъ и пройдоха-Мартынъ Ижпиннъ. Правда, онъ илутуетъ не особенно хитро и колдовать не мастеръ, но ему удается обмануть влюбленную кунчиху и выманить у нея порядочную сумму денегь Степенная купчиха принимаеть ароматическую ванну въ заколдованномъ растворъ изъ нахучихъ травъ; слушаетъ, какъ колдунъ заклинаеть ея годы, смотрится въ зеркало и видить, что "все въ ней дышеть ея прежней полнотой, въеть свъжестью и знойно-молодой красотою". Для усивха колдовства, она девять дней никому не должна говорить ин своего имени, ин своей фамиліи. Но дорогъ отъ колдуна Анна заходить помечтать въ убздный садикъ, гдъ "ночные шалуны" спугнули ея розовыя мечты, подняли скандаль и потасовку, такъ что потребовалось вмышательство мыстнаго "Держиморды". Блюститель благочинія унять буяновъ и для порядка хотбать отправить "на събзжую" и бъдную купчиху. Аниф по невод'в пришлось назвать свою фамилію, чтобы унять расходившагося представителя власти. Чары пропали. На утро Галдина проснудась "съ лицомъ смятымъ, съ пятнами на лбу и на щекахъ, съ чуть замѣтной съдиною въ волосахъ, съ пересохиними губами". Потрясенная всёми впечатленіями этой ночи, Анна умираеть, а невольный виновникъ всей этой передряги, студенть Перемътьевъ, не подозръвая, что вся эта исторія вышла пзъ-за него, дивится почти скороностижной смерти пріютившей его доброй женщины.

Въ такой обстановкъ вся эта исторія—только забавный анекдоть, почти фарсъ, хотя онъ почему-то обставлень не въ мъру серьезно. Исторія уъзднаго городка, съ момента его возникновенія въ стародавнія времена русской жизни, написана подробно и очень картинно. Старательной рукой очерчены богомолки-тетки, гнушающіяся "мірской прелести". Въ концѣ концовъ Анна умираєть, а это излишняя роскошь для фарса, который лучше всего было бы закончить высоко-комическимъ эффектомъ, для чего у поэта были подъ рукою превосходныя данныя. Для анекдота—все это слишкомъ тяжело и длинно. Невольно возникаетъ мысль, что поэтъ задумываль что-то побольше емѣшнаго фарса.

Ужель Анна върнла, что будетъ молода? Несомнънно оца върнла.

И этого вполнѣ довольно, чтобы изъ анекдота сдѣлать драму. Въ старыхъ сказкахъ почти у каждаго народа есть живая и мертвая вода. Фаустъ захотѣлъ молодости и Мефистофель досталъ для него таинственцую влагу изъ этихъ живыхъ ключей народныхъ преданій. И теперь въ Броунъ-Секара върятъ не только по

увзднымь захолустьямь. Это легковъріе основано на какихъ-то смутныхъ, но очень живучихъ инстинктахъ человъчества. Невъжество и постоянная въра въ чудесное—превосходная почва для этой завътной грезы. Любовь— еще одинъ и могучій факторъ легковърія. Этого за глаза довольно, чтобы пе вышучивать пе-

чальную исторію Анны Галдиной.

Нозволимъ себъ проэктировать иной ходъ фабулы. Тетки менъе смънны и болъе искренни; ихъ ненависть къ гръховной илоти глубже и страстиъе. Прологи и сказанія даютъ богатый матеріалъ для мрачныхъ и грозныхъ видъній. По этой части въ раскольничьихъ женскихъ монастыряхъ бывали большія мастерицы, неотразимое вліяніе которыхъ на живое и пылкое женское воображеніе такъ ярко обрисовано Печерскимъ въ его произведеніи: "Въ лъсахъ". Анна вполнъ подчинялась этой проповъди умерщвленія илоти. Трактиръ можетъ оставаться въ нижнемъ этакъ дома. По кунечоству, спасеніе спасеніемъ, а дъло дъломъ. Для поэта превосходный случай—контрастомъ адова разгула оттънить восторженную мечтательность христовой невъсты.

Проснувшаяся чувственность нескоро и несовсёмъ побъждаеть эти аскетическія начала. Противъ силы надо поставить силу. Ижигинъ-не плутъ, а колдунъ, одинъ изъ убъяденныхъ колдуновъ, тины которыхъ и теперь еще встръчаются по деревнямъ. Если бы онъ, увъренный въ своей загадочной власти, въ ритуальной и таинственной обстановкъ, мрачно вызывалъ покорныхъ ему бъсовъ и самъ корчился подъ недоброю властью нечистой силы; если бы волшебнымъ заклинаніемъ онъ поднялъ изъ темныхъ бездиъ вей призраки народной демонологіи; если бы онъ потребовать отъ своей кліентки богохульства и проклятій, щентральная картина поэмы не была бы смъшною. Опахивание коровьей смерти и добываніе святаго огня въ "Бѣсахъ" Достоевскаго совсъмъ не смъшно.-Тогда "ночные шалуны" и "Держиморда", какъ комические персонажи, были бы въ поэмъ пеумъстны. Зато смерть Анны была бы попятна и вполнъ мотивирована. При такой обработкъ сюжета, анекдотъ превратился бы въ драму.

Но не посягаемъ ли мы здѣсь на свободу поэта? Если поэтъ задумалъ фарсъ, кто въ правѣ требовать отъ него трагедін? Такое возраженіе, по нашему мнѣнію, въ данномъ случать не серьезно. Фарсъ изъ трагическихъ элементовъ и трагедія въ оболочкъ фарса — одинаково оскорбляютъ художественный вкусъ даже въ прозѣ; въ стихахъ же несовиѣстимость этихъ элементовъ еще замътнѣе и не оправдывается никакими сторонними соображеніями.

Но этого мало. Для поэта въра Анны была несовсъмъ безумна, чтобы не сказать болъе. Недаромъ на ней онъ основалъ всю свою фабулу. Ниже мы увидимъ, что эта мыслъ гораздо серьез-

ите, что вабев поэть намениуль на одну изъ гипотезь, соблазнительныхъ не для однихъ темпыхъ жителей уфаднаго захолустья. Поэть какъ будто испугался своей темы и шуткой замаскироваль свое личное отношение къ дфлу. Жаль. Основной мотивъ самъ по сеоб имъеть всъ права на существование, и серьезная обработка его только освётила бы ту оригинальную черту въ его міровозарвий, которая оставалась до сихъ поръ въ тъпи, потому что онь самъ проводить ее въ туманъ "Аллегорін" и какъ будто хочеть спрятать отъ чужихъ глазъ.

XII.

"Быть можеть, знать добро—не значить зла не видъть",— говорить Я. И. Полонскій въ своемъ стихотворенін: "И. С. Аксакову". Но, чтобы быть сатирикомъ, этого слишкомъ мало. Надо знать эло и ненавидъть его, а для этого нужны негодованіе и злоба,—чувства, которыя исключають всѣ радости и восторги лирическаго поэта.

Сатирикъ всегда идетъ отъ мысли къ факту, а не отъ соверцанія къ образу. Это совершенно изм'єняєть манеру работы, ц'єли творчества и характеръ чувства. Если лирическій поэтъ работаетъ для потометва и въчности, то сатирикъ-для современниковъ и своего въка. Если лирика существуеть для немногихъ, то сатира пишется для всъхъ. Если правдивость образа и осторожность въ его созданін — тучшія свойства лирическаго поэта, то сатирикъ имбеть свои права на преувеличение и карикатуру. Лирикъ, создавая свой образъ, отбрасываеть непужныя для него черты житейской пошлости и вульгарности; сатирикъ прежде всего смотрить на пошлыя и темныя стороны въ жизни общества. У сатирика вся сила въ фдкомъ анализъ; у лирика—въ способности строить и соединять отдъльныя черты въ одно цълое. Злоба, помогая сатирику, мѣшаеть поэту. Поэть рисусть человѣка; сатирикъ бичуетъ людей. Личность, какъ таковая, не имъетъ значенія для поэта, но она-все для сатирика. Правда, иногда сатирикъ пользуется всёми средствами поэзін и поэтому крупные поэты часто дають очень хорошія сатиры, но Сервантесъ и Свифтъ достигали своей цъли и прозой. Но и сатира хороша только тогда, когда бьеть не по мелочамъ, а по фактамъ серьезнымъ и крупнымъ. Въ извъстномъ смыстъ и "Божественная Комедія"—сатирическое произведеніе. И въ этомъ отношенін, по нашему мнънію, лучшую похвалу ей сказать проф. Гаспари, когда онъ разбиралъ трактатъ Данте "De monarchia". "Это уже,—говорилъ онъ, гордый и смълый языкъ Божественной Комедін, молнін котораго

охотнъе всего быотъ по горнымъ вершинамъ". Надо видъть корень зла и, бичуя злодъевъ, презрительно обходить мелкихъ илутовъ и мошенниковъ. Свифть создалъ своего Гулливера, потому что онъ считался съ основными свойствами человъческой природы и смотрълъ на жизнь глазами философа.

Въ извъстномъ емыслъ сатира и не подсудна суду эстетической критики. Это — продуктъ догическаго ума. Благодушный и застънчивый лирикъ—не мастеръ эпиграммы, которая должна быть неожиданна, блестяща и быстра, какъ молнія. Наивность въ лирикъ часто полна граціп и удивительной прелести. Наивный сатирикъ—это contradictio in adjecto. Кто способенъ на сарказмъ, отъ того трудно ядать лирической задушевности. Лирикъ экспансивенъ, сатирикъ молча готовить свои пароянскія стрълы. Сати-

рика боятся, лирика любять.

II Полонскій сдіблачь промахь, когда вмісто лиры взяль въ руки бичъ сатиры. Онъ, по самому свойству своего таланта, останея лирикомъ въ сатиръ, т. е. не достигая своей прямой цъли, старался сдіблать плеть изъ лучшаго шелка, а рукоять—изъ слоновой кости. Въ его "Собакахъ" много превосходныхъ лирическихъ отступленій. Правы псарни описаны мастерски. Но, какъ только Инжонъ, "помъсь пуделя съ лягавой", береть въ руки дирукакъ только ученый магъ, "водолазъ-философъ", принимая горячее участіе въ дебатахъ по вопросу о практическомъ осуществленін иден "звърчества", проявляетъ недюжинныя способности къ критикъ и, отвергнутый большинствомъ, увлекается онытами спиритизма,—интересъ къ псариъ пропадаетъ, а сатира, кутаясь въ эти звършимя шкуры, теряетъ выразительность и силу. Все это не въ правахъ собакъ. Образъ, какъ таковой, теряеть смыслъ; аллегорія стопть тамъ, гдѣ нужно имя. Сатира вынграда бы еслибъ Валетка, Сайга, Барбоска, Трезвоиъ, Бефра и другіе герои "юмористической поэмы" спова стали на заднія лапы и, какъ прежде, заговорили человъческимъ языкомъ. Для этого, конечно нужно большое гражданское мужество, чъмъ именно и великъ емълый сатирикъ. Ошибка здъсь въ томъ, что сарказмъ принизился до благодушнаго юмора и добродушная шутка запяла мъето негодованія и злобы. Если дібіствительность такъ нечальна, зачъмъ такъ незлобива и граціозна шутка? Тамъ, гдъ нуженъ сарказмъ, шутка-крунный гръхъ поэта-гражданина. Герои псарни, какъ собаки, отнязи у поэта много вдохновенія и мъста, растянули поэму на двадцать восемь главъ, а длиная сатира скучна и монотоппа-и, именно уже по одному этому, во встхъ отношеніяхъ неудачна. Въ "Собакахъ" гиввъ и чувство только публициста, а не моралиста и философа, что, понижая точку зрвнія, лишаеть сатиру почти вліянія до значенія; см'єшно in pulicis

morsu deum invocare; нельзя полемизировать огромными басиями и длинными аллегоріями. Сквозь притчу и басию, — эту хитрую образность востока, — ясибе всего сквозять неизмѣнныя свойства человѣческой природы. Для публицистической полемики довольно пародіи, юмористическаго стихотворенія и, при большемъ подъемѣ настроенія сатиры, — прямой и всѣмъ попятной насмѣшки.

Асмодей "У сатаны" по мъстамъ говоритъ гордымъ и смълымъ языкомъ силы. Мы съ интересомъ слъдимъ за его дерзкимъ споромъ съ повелителемъ адской бездны. Наше внимание усиливается, когда мы видимъ, что злобный геній земли не боится адскаго Цербера, не боится синебагровыхъ молній подъ иятою Сатаны. Но соль сатиры выдыхается на полдорогъ. Въ ней нътъ роста; она останавливается и нейдетъ дальше. Асмодей только описываетъ вибшије признаки зла, не сводя его къ одному началу, не указывая того неизсякаемаго родинка, откуда бъютъ ключемъ темныя силы. И мы соглашаемся съ Сатаною, когда онъ упрекаетъ своего вассала въ перадъніи и нерасторопности.

"Ночь въ лътнемъ саду" — рядъ басенъ въ духъ Крылова. Но у Крылова каждое животное — олицетворенное свойство, символическій значокъ характера, что не мѣшаєть ему сохранить всѣ типическія особенности своей породы. Только медвѣдь могъ оказать такую, по истинѣ медвѣяью, услугу пустынищку, только писа могла постановить такой приговоръ по тяжебному дѣлу между крестьяниномъ и овцою. Но у Полонскаго канарейка, воробей, тумба, оса, дождевикъ, кротъ, имель, сычъ и всѣ другіе персонажи выходять за границы своей породы и толкують о тѣхъ вопросахъ публицистики, которые особенно волновали журналистовъ шестидесятыхъ годовъ. Оса говорить о лекціяхъ по недагогикѣ для неопытныхъ матерей изъ осинаго царства. Что ей Гекуба?

Во всбхъ сатирахъ Полонскаго много лирическихъ отступленій. Онъ какъ будто хотълъ сохранить всю красоту задушевнаго лиризма и всю фдкую злобу сарказма. Развъ эта смълая попытка не напоминаетъ авинскаго ткача Основу, который въ день свадьбы герцога долженъ былъ играть роль льва въ трагедіи "Пирамъ и Онсба"? Усердный ткачъ объщалъ рычать громко и страшно, какъ настоящій левъ, а въ то же время, чтобы не напугать дамъ, тихо и нъжно, какъ флейта.

ХШ.

Возвращаясь кълприческимъ мотивамъ Я. П. Полонскаго мы напомнимъ то, что говорили раньше о фабулъ лирическихъ произведеній. Въ каждомъ лирическомъ произведеній, прежде

всего возсоздающемъ одинъ моментъ жизни, сквозитъ вся личпость поэта съ его обычною манерою воспринимать вившиня внечатлънія и по своему освъщать нув. Тъ — часто смутные и безсознательные-инстинкты духа, которые опредбляють выборь темы н подробности образа и заранъе подсказываютъ конечный выводъ, — хотя бы въ формъ простаго чувства или своеобразнаго оттъпка въ настроенін, - можно перевести въ логическія формы и такимъ образомъ выяснить теоретическую основу живыхъ и ясныхъ воспріятій поэта. Правда, его образы не ціликомъ укладываются въ отвлеченныя понятія; художественное воспріятіе утрачиваетъ яркую окраску жизненности и свъжести, входитъ въ область сознанія только въ своихъ схемахъ и общихъ чертахъ. Но этоть логическій процессь, объединяя въ одномъ фокусъ нестрые и разнородные элементы отдъльныхъ впечатлъній, въ конечномъ выводъ даетъ изслъдователю аріаднину нить, которая одна только и можетъ вывести его изъ лабиринта частностей и деталей.

Конечно, міровоззръніе поэта— не міровоззръніе философа. Это не стройная система выводовъ по всъмъ отраслямъ человъческаго мышленія. Аргументація здъсь—своя; она разсчитана не на спокойный анализъ холоднаго и безсграстнаго критика, а на завътные инстинкты чувства, на смутные, но въчные порывы воображенія. Здъсь дороги не частности, а крупныя общія черты, описывающія главное настроеніе и чувство.

Найти эти общія черты—посл'ядній и самый важный моменть художественной критики. Пока этого нъть, поэть не понять, а гдъ иътъ пониманія, тамъ иътъ справедливой оцтики и сознательнаго наслажденія. Цівнить отдівльные аккорды и мотивы поэта, игнорируя коренныя свойства его духа, значить строить свои выводы на воздухф; и эти выводы, какъ туманъ, осъдають къ землъ или донаются, какъ мыльные пузыри, при первыхъ лучахъ большей вдумчивости и сознательности критической мысли. Къ сожалънію, въ критикъ апломбъ и самоувъренность часто обратно пропорніональны вдумчивости и широтъ пониманія. Въ пенхологическомъ отношенін это основывается собственно на томъ, что критикъ считаеть себя слишкомъ умнымъ для того, чтобы постараться дъйствительно понять поэта. Какъ плохой прокуроръ, онъ торопится обвинять, не изучивъ обстоятельствъ дъла, и поэтому почти каждое трехлътіе въ нашей журналистикъ чуть не поголовно мъияется судебный персональ, за неспособностью къ дѣлу, а остаются ма мъстахъ — honoris causa — только инвалиды, какъ выслужившіе вев сроки и несполна еще созръвние для богадъльни.

Поэтому, нечего удивляться, если сотни критиковъ и рецензентовъ Полонскаго, за болъе чъмъ полувъковой періодъ его литературной дъятельности, ин однимъ словомъ не обмолвились объ одной очень крупной чертъ его міровозарънія, которая придаєть особенный смысль каждой его мысли, почти каждому его стиху. Полонскій ръдко, даже ради метафоры, говорить о смерти, совсѣмъ не смотритъ въ таниственныя сумерки загробной жизни и съ упрямымъ ригоризмомъ отворачивается отъ всякихъ виъ-мір ныхъ сущностей.

Въ составъ его міросозерцанія это, конечно, отрицательная величина и, можетъ быть, именно потому-то она до сихъ поръ и ускользала отъ винманія критики. Но это такой крупный и характерный фактъ въ каждой системъ взглядовъ на людей и на правду ихъ жизни, что мы считаемъ безусловно необходимымъ выяснить до возможной степени реальный смыслъ этой отрицательной инстанціи на тѣхъ немногихъ стихотвореніяхъ, которыя посвящены этому, самому загадочному и самому серьезному, вопросу философіи.

У Полонскаго есть два стихотворенія, гдѣ говорится о смерти. Одно изъ нихъ—"Смерть малютки".

Свою куклу раздъла малютка
И покрыла ее лоскуткомъ:
А сама нарядилась какъ кукла.
И педътскимъ забылася спомъ.
И не видитъ малютка изъ гроба
Въ этотъ солиечный день, при свъчахъ,
Какъ хорошъ ея маленькій гробикъ,
Нодъ нарчей золотою въ цвътахъ.
А ужъ какъ бы она любовалась,
Еслибъ только могли разбудить!..
Милый другъ, будемъ илакать, какъ дъти.
Чтобъ недътское горе забыть!

Это граціозное стихотвореніе, ясное въ своемъ настроенін и въ своихъ конкретныхъ чертахъ, при всей своей вибиней простоть, загадочно по своему смыслу. Здъсь недоумъніе возбуждаеть не то, что есть, а то, чего итть въ стихотвореніи.

Это горе, которое надо забыть, этоть гробикъ, надъ которымъ можно илакать только "какъ дъти",—отмъчають особенный оттъпокъ скорби. Лоскутокъ, которымъ малютка покрыла свою куклу, и сама она, нарядная, какъ кукла, въ маленькомъ гробикъ подъ золотою парчею,—это еще не смерть, это только послъдней игры,—еще на куклъ; и ее очень любили, эту милую дъвочку, если такъ на него смотрять теперь. И какой хорошей игрушкой показался бы ей этотъ гробикъ!

Милый другъ, будемъ илакать, какъ дъти, Чтобъ недътское горе забыть.

И все. Другаго утъщенія пъть, если только можно считать

утъшеніемъ свъжее воспоминаніе о томъ, что въ гробикъ спитъ граціозный и милый ребенокъ.

Овидій также искать утбиненія падъ погребальнымъ костромъ Тибулла, "Все святое оскверняеть ужасная смерть! На встхъ она поднимаеть свои нечистыя руки!... Но все таки хорощо, что ты легъ не на одинокомъ полъ чужой феакійской земли. Здъсь мать закрыла погасавщіе взоры умирающаго и принесла къ костру посявдніе дары. Сюда пришла нечальная сестра, раздівляя скоровматери и терзая на головъ распущенные волосы. Не оставили твоего костра одинокимъ Делія и Немезида; и онъ пришли къ тебъ съ постъдинмъ поцъзуемъ". "Моя любовь, — сказала, уходя, Делія, — принесла теб'я больше счастья. Ты жилть, пока твоимъ огнемъ была я". "Зачъмъ, —сказала ей Немезида, зачъмъ ты тоскуень о моей утрать? Умирая, онъ меня обнимать слабъющею рукою. -"Если только оть насъ остается что нибудь, кромъ имени и тыш, - Тпоульть будеть въ Елисейскихъ поляхъ... Его встрътитъ твиь Галла, если только есть какая инбудь твиъ у твла". "Молось, пусть мирио покоятся въ уриъ твои кости, пусть земля не давить на твой прахъ".

И здѣсь граціозныя подробности похоронъ единственное утышеніе въ тяжелой утратѣ. Находчивый діалектикъ въ минуту клубокой скорби тышить себя софизмами. Чъмъ же лучше для Тибулла, что онъ умеръ не на чужой сторонѣ? Что изъ того, что сестра и мать такъ заботливо справили похоронные обряды? Изящиый латинскій поэтъ подмѣтилъ всю красоту этого споралюбы: -гордый вызовъ Деліи и спокойное сознаніе своихъ правъ Немезиды. Что же лишило обычной бойкости и находчивости элегантнаго діалектика?

"Если судьба не щадить и честныхъ,—извините за признаніе: я не могу не думать, что боговъ ивть. Живи благочестиво, умрень. Почитай святыни, — но безнощадная смерть изъ храма привецетъ тебя въ глубокую могилу. Върь вдохновенію и стиху, но, смотри, вотъ дежитъ Тибуллъ и отъ него остается только горсть ненда, которая умъстится въ маленькой уриъ"!

Теперь понятна эта упылая логика тоскующаго поэта. Утъшенія не было, но ему было слишкомъ нужно оно, это послъднее утъшеніе въ емерти. Сомпительны эти тъпи елисейскихъ полей даже тогда, когда безспорны веть права мертвыхъ на это счастье. Но похороны такъ граціозны, полны такой изящной печали, что вдохновеніе и сердце поэта ловять эти милыя черты, и поэть, какъ ребенокъ, любуется лоскуткомъ дътской куклы.

Вепоминмъ похороны Сильфиды въ "Кузнечикъ-Музыкантъ". Тамъ все полно упьлой граціи, — тихой, безутышной печали. Только злую думу могь думать бъдный артисть падъ свъжей могилой, когда такъ оскорбительно-злобно изъ рощи звучалъ счастянвый соловыный рокоть. А предразсвътный вътеръ думалъ, что "воскреснетъ молодая фея",—воскреснетъ для деревенскаго поля, для счастья кузнечика, хотя бы для того, чтобы полюбоваться своими похоронами, "еслибъ только ее могли разбудить". Но бъдный артистъ не умълъ илакать, "какъ дъти" о своемъ "недътскомъ" горъ, чтобы отогнать злую думу...

Но, можеть быть, нашъ коментарій произволень? Можеть быть, это чувство легче объяснить изъ другихъ посылокъ? Спокойно встрѣчають смерть и у простого народа, гдѣ тоже не ищутъ утъшенія, всегда имѣя его подъ рукою въ незыблемой вѣрѣ, въ опредѣленныхъ образахъ инаго существованія. Это спокойствіе объясняется и тѣмъ, что тамъ жизнь сурова, нервы грубы, фантазія бѣдна. А здѣсь воспрінмчивость отзывчива, какъ эолова арфа, чувствительная къ самой легкой струйкѣ вѣтерка, — здѣсь мастерская виртуозность творчества, которое лоскуткомъ и гробикомъ очерчиваеть глубокое и сложное чувство. Кромѣ того, здѣсь красота похоронъ—не красота обряда, что есть отчасти и у Овидія. И это не своя красота у поэта, а красота для ребенка, который, увы, ея не видитъ. И въ этой тихой грусти пътъ покорности, нѣтъ полнаго примиренія съ фактомъ.

Эту сторону дѣла объясняеть другое стихотвореніе:—"Безуміе горя". На первый взглядь здѣсь образы слишкомъ странны и изысканны. Кажется, что здѣсь вмѣсто живаго чувства—условное риторство, вычурная и неестественная декламація. Но это стихотвореніе станеть вполнѣ понятнымъ, если мы будемъ поминть, что у поэта свое отношеніе къ смерти. Съ тупымъ, безсмысленнымъ вниманіемъ поэть опускаеть въ сырую могилу уютный, маленькій гробикъ любимой женщины. Но ему представляется и другой гробъ,—гробъ, въ которомъ заключенъ онъ самъ. Этотъ гробъ былъ просторенъ, пестрѣлъ зеленью, и лазурью, на немъ, какъ роскошно золоченная бляха, горѣлъ дискъ солица. И поэтъ сознавалъ, какъ нелегко забыться въ этомъ "громадно-пышномъ гробъ", — умереть настолько, чтобы "забыть любви утраченное счастье, свое ничтожество и жежеду въчно жемъ".

И порывался я очнуться,—встрепенуться, Подняться,—въчную мою гробницу изломать, Какъ саванъ сбросить это небо. На солице наступить и свъзды разметать, И ринуться по этому кладбицу, Покрытому обломками свътилъ, Туда, гдъ ты, гдъ нътъ воспоминаній, Прикованныхъ къ ничтожеству могилъ.

Мы видимъ, что "таниство смерти" и всъ утъщенія, какія только возникають на ночвъ предположеній о дальнѣйшемъ су-

ществованій, ни на одну минуту не останавливають вниманія поэта. Разбита всякая надежда на счастье, и міръ сталъ мертвой гробинцей, потому что онъ живеть и дышеть только счастьемъ. Если безсмысленна смерть, то безсмысленна и жизнь, и все мірозданіе. Небо—саванъ, міръ жладбище, и все, что такъ безпощадно губить послѣднее счастье человѣка,—достойно гибели.

Но пусть гибнеть вся система свътиль,—счастье не можеть ногибнуть: — среди этихь обломковъ гдъ-то снасется "она", безъ которой иъть счастья. Поэту гдъ-то снится жизнь, гдъ нътъ "инчтожества" могилъ. Овидій счелъ нужнымъ извиниться, что онъ готовъ отрицать римскихъ боговъ. Это изысканность въжливости. Его современники отнюдь не шокпровались такими пустяками. Къ его времени римскій Олимпъ давно уже вымеръ. И, все таки, въ этомъ отрицаніи печальное сердце поэта нашло какую-то усладу. Русскій поэтъ не доступенъ такому дешевому утъшенію. Онъ отрицаєть смыслъ въ природъ и въ жизни вселенной, если въ ней есть мъсто для смерти, беземысленно ушичтожающей людское счастье, въ которомъ заключается весь смыслъ людской жизни

Въ чемъ же смыслъ этого разрушительнаго порыва? Развъ не мудрость—мириться съ неизбъжнымъ? Развъ не были правы стоики, когда они говорили, что умиъе ничего не любить и ничего не желать, чтобы не стать рабомъ своихъ надеждъ и не илатиться дорого за свои увлеченія? Чтобы отвътить на этотъ вопросъ, мы должны еще дальше отойти отъ обычныхъ воззрѣній на смерть и еще съ большимъ скептицизмомъ посмотрѣть на ся тайны.

Поэть—"На кладбищь". Онь знаеть, что сонь мертвыхь непробудень, но ему почему то жутко среди могиль. Наука вывела его "наь области мечтаній, изъ-подь власти темныхъ силь"; она научила его "не бояться ни живыхь, ии мертвецовь". Это могучая сила; благодаря ей, нашъ умъ не опустиль крыльевъ въ мірѣ звѣздъ и "открыль, не внемля върѣ, тяготѣніе свѣтилъ". Но развъ разгаданы тайны глубокихъ могиль? И на кладбищѣ поэть готовъ повърить сказочнымъ разсказамъ своей ияни.

Такъ и кажется, что тъни Мертвыхъ колоколъ сзоветъ; На церковныя ступени Призракть сядетъ и вздохиетъ, Иль, костлявыми руками Мертвеца приподнята, Глухо стукиетъ за кустами Намогильная илита...

Выводъ правильный и совершенно понятный. Точная наука открыла законы міроваго движенія, по ей недоступны тайны мо-

гиль; поэтому здѣсь фантазія имѣеть евои права и мысль можеть по-своему смотрѣть на загадки спа мертвыхь. Въ могилы слегка пробиваются струйки земной жизни. Поднимается костлявыми руками гробовая илига; призракь садится на церковныя ступени и вздыхаеть. Тропинка найдена, значить, можно идти дальше. Нельзя ли наполнить жизнью всю могилу, т. е. упразднить, обмануть смерть? Какъ ни смѣла эта мысль, по и она приходила въ голову поэту; только эти смѣлыя думы онъ высказываль нѣсколько прикровенно, стараясь заглавіемъ скрыть истипный смысль своей мысли. Стихотвореніе, о которомъ мы говоримъ, называется "Аллегорія".

Поэть—въ дорогъ. Вдали огонекъ,—должно быть, станція. Путевые порядки ему хорошо извъстны. Возница слъзеть съ облучка, отпряжеть усталыхъ клячъ и, при мерцаныи почника, сведетъ его въ сырой покой.

> II скажеть: лягь, родной мой, воть Досчатый одръ, —засни пока... А ну, какъ я, презръвъ покой, Не захочу, не лягу спать? И крикну: живо, хрычъ съдой! Вели мит лошадей мънять!.. Да слушай ты: впряги не клячъ,-Лихихъ коней, чтобъ могъ и вскачь Опередившихъ насъ догнать!.. Чтобъ могъ прижать я къ сердцу вновь Все, что впередъ умчалъ злой рокъ: Свободу, молодость, любовь... Чтобъ загорѣвшійся востокъ Открылъ миъ даль, чтобъ новый день Разебялъ этой ночи тънь Не такъ, какъ этотъ огонекъ!..

Развъ послъ этого стихотворенія смѣшна надежда Анны Галдиной—помолодѣть снова? Смерть—не конецъ дороги. Это только временная остановка, станція, на которой можно и не останавливаться, если еще не изжиты всѣ силы жизни. И за этой станціей—ничего новаго; дальше та же дорога, та же жизиь,—тамъ снова прежняя "свобода, молодость, любовь"; тамъ ждутъ тѣ, которые проъхали эту станцію раньше... Развѣ не этотъ мотивъ звучить и въ "Божественной комедіи"? Чье имя заставляло Данте превозмогать всѣ препятствія, побороть свой страхъ передъ ужасами ада и передъ очистительнымъ огнемъ? Что побуждало его идти къ царству благодати? И онъ искалъ свою молодость, и онъ шелъ къ своей Беатриче. Правда, онъ, ради своей любви, изъ всѣхъ матеріаловъ запасливой схоластики построилъ по дорогѣ три царства загробнаго міра; правда, преображенная Беатриче, сіяла всѣмъ блескомъ царства благодати; но на берегу

ръки забвенія и Дапте встрътила земная женщина, съ земнымъ сердцемъ въ груди, съ суровыми упреками ревности из устахъ.

Конечно, съ мимолетной мечтой нашего поэта нельзя и сравнивать грандіозный замысель Данте; но мы и сопоставляемъ ихъ только по земнымъ элементамъ въ представленіяхъ о невемной жизни. Нашему поэту путь къ его молодости даже ближе; между иими нътъ ни ада, ни чистилища, ни рая,-отъ начала и по конна идеть прямая, гладкая дорога. Конечно, нельзя слишкомъ серьезно смотръть на эти смълые порывы фантазін, хотя и они по своему цънны, такъ какъ показываютъ намъ, ради чего воображение поэта отръшается отъ условій земной возможности. Это не строго опредъленныя величины въ его міровозэрбнін; эти признанія надо понимать отчасти cum grano salis; ихъ надо смягчить и нібсколько съузить, чтобы опредіблить обычный объемъ ихъ смысла. У Полонскаго, къ счастью, есть и болъе опредъленныя формулы этихъ воззрвній. Онъ вврить, что божьимъ небесамь не нужны "призрачныя явленья", что въчность сохранить только "божественную человфиность", а "земля земную втянетъ плоть, въ мракъ унесеть ея химеры".

> Но въра скудная моя Могучихъ крылъ не отростила: Страшна ей въчность впереди И омерзительна могила.

II эта въра не вмъшивается въ его жизпъ тамъ, гдъ безплодны и безсильны всъ земныя утъщенія.

Но гдъ взять въры?! Слово "Вогъ" Миъ на уста не приходило; Молитвъ ивлительная сила Выла чужда обоимъ намъ...

Съ тѣхъ поръ какъ съ горизонта поэта скрылись всѣ "призрачныя явленія" и смерть утратила свои роковыя и фантастическія очертанія,—онъ иначе взглянуль на жизнь. Всѣ начала этики, которыя стояли на почвѣ "призрачныхъ явленій", утратили свой смыслъ. Онъ не смотритъ на жизнь сквозь призму грѣха и спасенія. Въ "Аннѣ Галдиной" онъ показалъ борьбу чувственности съ началами аскетизма. Стонтъ перечитать поэму, чтобы видѣть, на чьей сторонѣ его симпатіи. Онъ призналъ всѣ права чувства, права каждаго на земное счастье.

Но было бы ошибочно видѣть въ этомъ начало отрицанія и критики. Это выводъ изъ положительныхъ убѣжденій поэта, это вѣра, до которой опъ дошелъ дорогою своихъ сомиѣній.

> Молиться я хочу; но тяжкое сомнънье Святые помыслы души моей мрачить. И върю я, и вновь не смъю вършть;

Боюсь довъриться чарующей мечть, Передъ самимъ собой боюсь я лицемърить: Разсудокъ бъдный мой блуждаеть въ пустотъ...

Это стихотвореніе понятно только въ томъ смыслѣ, что самая проблема для его мысли не существуеть, и внѣшнія вліянія, которыя наводять его на эту тему, только дразнять и мучать его сознаніе.

Что же собственно будило сомнъніе поэта? Во что онъ могъ върить, не лицемъря съ собою?

И я сынъ времени, и я , Вылъ на дорогъ бытія Встръчаемъ демономъ сомпънья: И я, страдая, проклиналъ, И, отрицая Провидънье, Какъ благодати ожидалъ - Послъдняго ожесточенья.

"Ожесточенье" и "Провидѣнье" свидѣтельствують только о томъ, что въ молодости на поэта производилъ иѣкоторое впечатлѣніе демонъ полежаевскаго сомиѣнія, отрицательный катихивисъ котораго простъ и ясенъ. Но на мѣстѣ разрушеннаго храма поэтъ построилъ свой новый храмъ.

И какъ великъ мой новый храмъ! Перукотворенъ куполъ въчный, Гдъ ночью путь проходитъ млечный, Гдъ ходитъ солице по часамъ, Гдъ все живетъ, горитъ и дышетъ, Гдъ раздается въчный хоръ, Который демонъ мой не слышитъ, Который слышалъ Инвагоръ.

Поэту легко и привольно въ этомъ храмф, потому что

Всъ генін земнаго міра, И всъ, кому послушна лира, Мой храмъ наполнили толной; Гомера, Данте и Шекспира Я слышу голосъ въковой. Теперь попробуй, демонъ мой, Нарушить этотъ гимиъ святой, Наполнить смрадомъ это зданье.

Говоря безотносительно, это дерзкій и опрометчивый вызовь Это настолько же храмъ сомнѣпія, насколько и вѣры. Духъ сомнѣпія не боится лиры, самъ любитъ "Гомера, Данте и Шексипра" и именно поэтому великъ и неотразимъ въ своемъ демоническомъ величіи. Но у Полонскаго эти рѣчи пріобрѣтаютъ совсѣмъ другое значеніе. Его вѣра, дѣйствительно, недоступна сомнѣнію, потому что его храмъ пересталъ быть храмомъ и сталъ богомъ Сила сомнѣнія въ вопросѣ: кому этотъ храмъ? Но разъ управл

нился этотъ вопросъ, сомитьню иттъ больше мъста, потому что здъсь само отрицаніе стало върой. Поэту "омерзительна" могила и "страшна въчность", потому что это отрицаніе его бога. И у него, какъ отчасти и у Данте, смерть – только переходъ изъ времени въ въчность, чтобы въчно жить дучиними впечатлъніями времени. Онъ не отъ смерти беретъ краски, чтобы рисовать картины жизии, но смъло расширяетъ жажду земнаго счастья въ безиредъльность въчности. Смыслъ жизии озаряется свътомъ жизии, а не блъднымъ сіяніемъ изъ-за могилы. Онъ не переходить за эту роковую черту, нотому что за нею для него все пусто, ибо смыслъ жизии—счастье, а счастье только здъсь. И поэтому даже для метафоры онъ не беретъ "призрачныхъ явленій", отчего его кисть такъ мастерски и такъ рельефно передаеть непризрачныя красоты живой природы.

Вспомнимъ, какъ въ сущности бъденъ и блъденъ языкъ, какъ безсознательно и инстинктивно мы вводимъ въ свое сознание традиціонные образы и иден, какъ страшно трудно дъло поэта, которому приходится пользоваться всъми свойствами слова, чтобы достигнуть своей высокой цъли,—и мы поймемъ, смыслъ того знаменательнаго факта, что поэть, даже ради метафоры, не пользуется образами и аттрибутами смерти, символами и эмблемами виъ-мірыхъ существъ. Это уже ригоризмъ, но именно поэтому очень краспоръчнвый. И "фантастичность" Полонскаго, какъ мы уже говорили, ограничена предълами земнаго существованія, и всегда слегка проинкнута практическими тенденціями, что также не лишено своего значенія.

Мы отнюдь не утверждаемъ, что это міровоззрѣніе было плодомъ логическаго или систематическаго мышленія. Тогда дѣло критики было бы гораздо легче. Мысль Эшкура,—что смерть ничто для насъ, потому что, когда мы существуемъ, ивтъ смерти, а когда является смерть, ивтъ насъ,—по своимъ логическимъ свойствамъ вполит ясна. Но у Полонскаго это—дѣло органическаго убъжденія, непобѣдимаго инстинкта, передъ которымъ безсильна логика и аргументы. Какъ таковое, оно упориъе и живучъе убѣжценія, сложившагося изъ теоретическихъ элементовъ. Поэта переубѣдить нельзя, потому что ему претитъ смерть и омерзительна могила. Онъ далекъ отъ рая и его восторговъ, потому что ему страшна вѣчность.

А если это міронастроеніе выходило у него изъ инстинкта то на эту же почву должна стать и критика, если она хочеть проникнуть ін medias res. За послъднее время мы отвыкли отъ такихъ принциповъ міросозерцанія. Великія догмы буддизма, иден метемпенхоза и налингенезиса, нашли новый откликъ въ сознаніи современнаго общества. Если въ началъ нашего въка общество про-

бовало забыться отъ тяжелыхъ впечатявній двіїствительности въ пестрыхъ грезахъ романтизма, то теперь горечь жизни ослабляють сумрачныя видінія пнаго міра и загадочныя тайны загробнаго существованія На почвіз несенмизма слагаются величавые строгіе и скорбные образы. Для Леонарди, который иблъ гимны смерти, только какъ избавительниць отъ земныхъ страданій, и виділь въ ней полное упичтоженіе человіка,—міръ быль тюрьмой, больницей и сумашедшимъ домомъ вмість; въ этихъ очертаніяхъ жизнь казалась ему даже ужаситье смерти и опъ шелъ навстрічу небытія со спокойствіемъ античнаго мудреца и съ усталымъ сердцемъ иламеннаго поэта. Нельзя отрицать, что его могучее и вдохновенное слово до сихъ поръ хранитъ неотразимыя чары для сознанія лучшихъ умовъ нашего віжа.

Но и это въяніе, при всей его широтъ и силъ, отчасти односторонне, хотя нужно незаурядное мужество, чтобы вырваться изъ этого теченія. Было бы еще большей односторонностью не признать законности и правъ на существованіе другаго склада идей, тоже сложившихся на почвъ неоспоримыхъ фактовъ жизни. Все живое не хочетъ смерти и боится ея. Чъмъ выше индивидуальность, тымъ ужаснъе уничтоженіе личности. Въчность—постулатъ философской мысли; временное существованіе ощущается непосредственно и живо. Если восторги и радости инаго міра создаются изъ идеализаціи земнаго счастья, значитъ въ жизни есть все, что нужно для рая. И по своему были совершенно правы классическіе поэты, когда они говорили, что боги часто, слишкомъ часто завидують счастью смертныхъ.

Конечно, чтобы стать на эту точку зрфнія, надо отръшиться отъ ніжоторыхь, безспорно очень соблазнительныхь, выводовь метафизики и пессимизма; но только этимъ путемъ мы подготовимъ наше сознаніе къ пониманію півца жизни и земнаго счастья. Для этого придется переставить знаки положительныхъ величинъ и отрицанія: —во имя любви отрицать ненависть, во имя добра—зло, во имя жизни—смерть. И это легко сділать тому, кто воспринимаєть сердцемъ, не ставя между собою и поэтомъ готовой доктрины. Но нельзя забывать и основныхъ вітрованій поэта, потому что только въ нихъ его земная красота и земное счастье получають свой высшій смысль и полную серьезность.

XIV.

"Смерть начало философін". Такова формула Сократа. Про тивъ нея трудно что нибудь возразить, если только, но установившемуся смыслу терминовъ, мы замънимъ слово "философія" словомъ "метафизика". Метафизика всегда идетъ за предълы земнаго существованія; философія можеть оставаться и въ предблахь міра.

Съ этой точки зрвиія, взглядь на смерть, какъ на полное уничтоженіе человвка, логически и необходимо ведеть къ грубому и животному сибаритизму. Edite, bibite, post mortem nulla voluptas. Но всегда ли такъ? Логическая ли это необходимость?

Правда, Полонскій нигдѣ не высказывается категорически по этому существенному метафизическому вопросу; правда, какъ ноэть, онъ и не обязанъ систематически и стройно складывать свои основныя мысли въ одно законченное цѣлое; но во всякомъ случаѣ смерть въ его міровоззрѣніи почти не играетъ роли; поэтому и для него съ полнымъ правомъ можно поставить вопросъ: не повело ли его это равнодушіе къ смерти къ эгоистическому и эникурейскому отношенію къ жизни? Къ сожалѣнію, у него есть одно очень красивое стихотвореніе, которое можетъ навести именно на такое предположеніе. Это "Качка въ бурю".

Море кипить и качаеть корабль. Вътеръ свистить въ снастяхь и рветь паруса, но,

ввъряясь кораблю, Я дремлю въ кають тъсной... Закачало—силю.

II ему снится, что онъ въ колыбели, дремлетъ подъ пѣсни няни. Обломилась стеньга, рулевой упалъ въ море.

> Что же дълать? Что могу я? И, ввъряясь кораблю, Вновь я легъ и вновь дремлю я... Закачало—силю.

II ему снятся качели въ саду; снится, что опъ обнимаетъ чей-то "полувоздушный станъ", а подъ нимъ "послушно качается зыбкая доска".

Просынаюсь.. Что случилось? "Руль оторвань; черезь нось Вдоль волна перекатилась, Упесень матросъ"! Что же дълать? Вудь что будеть! Въ руки Бога отдаюсь: Если смерть меня разбудить, Я не здъсь проснусь.

Это одно изъ молодыхъ стихотвореній поэта. Вся его дѣятельность порукой за то, что онъ не такъ безпечно и равнодушно относился къ судьбѣ корабля. Если онъ самъ и не стоялъ у руля то между его личными думами и судьбой корабля связь была гораздо прочнѣе и крѣиче, чѣмъ между качкою и люлькой, волненіемъ на морѣ и качелями въ саду. Онъ не былъ лѣнивымъ и мечтательнымъ сибаритомъ, не ввѣрялъ своей судьбы наемпымъ

матросамъ и иногда принимать участіе въ спорахъ о курсть корабля. Правда, подъ громъ и стукъ житейской сутолоки, онъ видълъ свои сны, но въ этихъ снахъ было много другаго, кромъ итсенъ ияни и "ласково-живаго" голоса любимой дъвушки. Это только отзвукъ безпечной и еще неопредълившейся молодости. Отсутствіе метафизической тенденціи не превратило жизнь въ шумную оргію. Поэтъ, въ борьбъ съ демономъ сомнънія, строилъ не веселый постоялый дворъ, а храмъ, который навсегда остался чистымъ и высокимъ, какъ и подобаетъ храму.

Въ полушутливомъ и личномъ стихотвореніи ("Восноминаніе"), вепоминая слова своей случайной спутницы на кораблъ, которая говорила, что она "любитъ бури", поэтъ роияетъ серьезное слово: онъ "не смъетъ смъяться надъ жизнью",—той жизнью, которая, при метафизическомъ освъщеніи, такъ часто становится цълью сарказмовъ и проклятій. Если высшая серьезность въ жизни человъка—смерть, то сама жизнь имъетъ только относительное значеніе. Но жизнь тъмъ серьезнъе, чъмъ меньше она ноглощается идеею смерти. Для поэта—это не предметъ шутки; только серьезность въ этомъ направленіи и даетъ устойчивость и равновъсіе его духу. Онъ не можетъ мириться съ тъмъ, чтобы другіе въ легкомысленномъ задоръ посягали на эти устои жизни. Онъ предостерегаетъ того, кто такъ "недавно вышелъ изъ мрака", "все слышалъ, все видълъ и все нопялъ невнопадъ".

Остановнеь! Ужель намедии, Безумець, не замътиль ты, Что потупилъ огонь послъдий И смяль послъдийе цвъты?!

Ему странно и пепонятно (у конной статун Петра Перваго что мысль можеть искать себъ выхода въ влобъ, въ ядовитомъ жалъ насмъшки.

Какъ эта мъдная змъя Подъ мъднымъ всадинкомъ, прижатая копытомъ Его несущаго коия.

Правда, онъ иногда готовъ завидовать даже "озлобленному" поэту, звукамъ "печали и мести", которые находять такой скорый откликъ въ сердцахъ современниковъ.

Идъ въ глубинъ его страстей, Спасенье—въ силъ отрицанья, Въ любви—зародыни идей. Въ идеяхъ—выходъ изъ страданья. Невольный крикъ его—пашъ крикъ, Его пороки наши, наши! Опъ съ нами ньетъ изъ общей чаши, Какъ мы, отравленъ и великъ.

Но это отравленное блаженство "озлобленнаго" поэта,—быть мо-

жеть, "правственнаго калѣки",—не соблазняеть того, кто не могъ инть изъ чани отрицанія.

Его "бьеть въ сердце, звеня, какъ тяжелый мечъ", "жосткій, безпощадный стихъ" И. С. Аксакова, обвъянный "холодною, невеселою правдою". Ему кажется, что "строгій геній, не внемля шоноту соблазна", велъ ноэта-нублициста инымъ путемъ—"туда, гдѣ пътъ примиренія со зломъ", но нътъ и "жаркихъ увлеченій",— что онъ "надъ корнемъ общественнаго зла стоялъ съ ножемъ,

"какъ врачъ".

Этому безпощадиому стиху Полонскій внимаєть "съ невольнымъ трепетомъ". Это не его правда. Онъ знаеть жаркія увлеченія, но не береть ножа противъ зла. Ему легче, отравляя душу и заглуная плачъ сердца, выжать и выпить сокъ этого зла. Истинный поэть, по его убъжденію, къ правдъ долженъ вести "любовью". Онъ больше знаетъ добро, но онъ видитъ и зло, и по своему объясняеть его появленіе. Пока жизнь еще грозить иногда и личному счастью, но только потому, что не всъ счастливы.

"Безъ горинчной, безъ провожатыхъ", ушла изъ дому та, которая дорога его сердцу. Онъ за нее боится, но вовсе не изъ ревности. Ему страниа "косматая, какъ звъръ", пищета, которая всюду "блуждаетъ невидимкой".

Ты пе пуждаенься, благодаря трудамь,
Но для пея—и ты богата:
И то, что любинь ты, и то, что свято намь,
Для голодающихъ не свято.
О, я бъ не ждалъ тебя съ тревогой и тоской;
Объ этомъ не было бъ и ръчи,
Когда бъ у каждаго въ семъъ его родной
Горъли праздничныя свъчи.

Вотъ гдѣ единственный корень зла по его мнѣню. Чего бояться, когда у всѣхъ будутъ зажжены праздинчныя свѣчи? Насколько близка эта мысль къ его сердцу, видно уже изъ того, что она всегда наготовъ, приходитъ ему на умъ при каждомъ, даже сравиштельно пезначительномъ, поводъ.

Но, можеть быть, намъ скажуть, что здѣсь счастье для себя является мотивомъ этого желанія счастья для всѣхъ, что въ основѣ этой морали лежить эгоистическій и личный принципъ? А еслибы и такъ? Что же изъ этого? Такое возраженіе,—а его надо ждать, потому что оно слишкомъ въ духѣ нашего времени,—очень характерно для современнаго сознанія. Факты жизни, какъ говорять наши художники и романисты, пеприглядны и мрачны. Жизнь насквозь проникнута мелкимъ эгоизмомъ и узкими меркантильными разсчетами. И все-таки въ сферѣ морали мы не миримся ни съ чѣмъ, кромѣ безусловной святости. Поэтому каждый новый опытъ этики находитъ много тонкихъ и злыхъ кри-

тиковъ, и скоро надаетъ подъ ударами со всъхъ сторонъ. Если въ системъ морали и въ жизни ея основоноложника иътъ святости, его ученіе не обязательно цъликомъ и общество спокойно можетъ сохранить statusquo ante. Отбивая мораль остроуміемъ, общество, не поднимая уровня жизни, въ критикъ чужой морали почему-то всегда поднимается чуть не на заоблачныя вершины. Но это, конечно, только формальный запросъ, и, какъ таковой, легко мирится съ тъмъ удачливымъ лицемъріемъ, которое оставляетъ между ученіемъ и жизнью достаточно простора для личнаго комфорта. Вообще говоря, нетрудно провозглащать начала идеальной святости за чужой счетъ, возлагая на чужую спину "бремена тяжкія". Трудиъе быть върнымъ всю жизнь даже сравнительно скромной системъ морали.

Но у Полонскаго это отнодь не логическая схема, плодъ досужей мысли, но инстинктъ сердца, органическій продукть всего его существа. Быть другимъ—онь не можетъ. И,—какъ мы видъли и увидимъ дальше, — его личное счастье стоитъ въ зависимости отъ счастья другихъ. Ему нѣтъ счастья, пока страдаютъ другіе. Но онъ въритъ, что настанетъ и его время, когда всѣ будутъ счастливы.

Правда, дъйствительность еще слишкомъ далека отъ этого идеала. Онъ думаетъ, что "лучшихъ дней нескоро мы дождемся", по готовится поразить небо своимъ разсказомъ о "злой землъ".

Гдъ ложь всъмъ явная, папвно лицемъритъ, Гдъ робкое добро себъ пощады ждетъ, А правда такъ страшна, что сердце ей не въритъ,

и ставить себѣ въ заслугу, что и на этой землѣ онъ "не проклиналъ", хотя "страдалъ и боролся". На дорогѣ той правды, которая не страшна, которой такъ легко повѣрило бы сердце, стоитъ общая рознь и вражда. Онъ знаетъ, что ("Рознь")

Злость стала людямъ дорога, Спокойно мыслить намъ не время...

Люди не умѣютъ сплотиться, сойтнеь вмѣстѣ ради такого простаго и хорошаго дѣла.

Есть у насъ такъ пазываемый свътъ. Есть даже люди, а общества пѣтъ: Русская мысль въ одиночку созрѣла, Да и гуляетъ безъ дѣла.

Только потому и "безъ дѣла", что она созрѣла "въ одиночку", что у насъ нѣтъ общества. Но эта русская рознь—отзвукъ другой, болѣе серьезной розни, которая идетъ "съ вавилонскаго столнотворенія"; съ тѣхъ норъ "духъ вражды и духъ разъединенья держитъ міръ въ невѣжествѣ и злѣ. Люди на людей куютъ во мракѣ цѣпи, истина не смѣстъ быть нагой".

Но они придуть, эти лучшіе дни. Ихъ надо ждать, къ нимъ надо готовиться. Что же ведеть, къ этому золотому вѣку? *Наука* и *свобода*,—свобода, какъ дорога къ счастью и какъ его необходимое условіе.

"Для мысли, какъ для воздуха и свъта, невозможно выдумать заставъ". И онъ страстно зоветь эту мысль, если она роди-

лась и созръла.

Свободная мысль, — если ты не больная, Не тощая мысль, а полна красоты И силы, — явись къ намъ, какъ фрина пагая, Во всемъ обаяпьъ твоей красоты.

Мысль, которая прячется по закоулкамъ, бонтся дневнаго свъта и кутается въ лохмотья — больная мысль и только потому останавливается у каждой заставы.

Царство науки не знаеть предъла, Веюду ельды ен въчныхъ побъдъ, — Разума слова и дъло— Сила и евътъ... .. Міру, какъ новое солице, сінетъ Свъточь науки, и только при немъ Муза чело укращаетъ Свъжимъ вънкомъ.

Эта гордая въра въ науку, при свъть которой заплетаются свъжіе вънки на чело музы, — одна изъ самыхъ симпатичныхъ сторонъ въ міровозарѣніи Полонскаго. Теперь повсюду замѣтны слѣды какой-то тревожной, путливой и нервной ненависти къ наукъ и мысли. Въ нашъ въкъ немногіе съ спокойною совъстью прочитаютъ ръзкія, но глубоко справедливыя слова Шопенгауэра:

"Обскурантизмъ — это хула, если не на святаго духа, то на духъ человъчества; это гръхъ, который не прощается никогда; тому, кто въ немъ провинился, надо безъ нощады и жалости ставить его въ упрекъ всегда и вездъ, и выражать ему презръніе

при каждомъ случав, какъ живому, такъ и мертвому" 1).

Но для новыхъ побъдъ науки нужна свобода. Очень симпатично по мысли стихотвореніе Полонскаго "Литературный врагъ"; правда, противъ него можно сказать много, его темиъ слишкомъ задорно-боекъ, слишкомъ безпечально-веселъ для такой серьезной и строгой темы. Но дорого и то, что эта тема вдохновила поэта, подсказала ему гуманную мысль и вызвала хорошее чувство. Другіе боялись этой скользкой темы, не говорили того, что сказаль онъ. Онъ хотълъ безпощадно биться съ однимъ изъ самыхъ злыхъ своихъ враговъ, но "тюрьма его закрыла, какъ щитомъ" и борьба стала невозможною. На этой почвъ поэту грозитъ новая онас-

^{1) &}quot;Міръ какъ воля и представленіе". Т. II, стр. 635.

ность—внасть въ сантиментализмъ и, ради сочувствія, позабыть дъло своей правды. Но ноэтъ прямо и смъло указываеть всъ невыгоды этого для своей мысли.

Люди охотно върять всякой мысли, которая выходить нодъ музыку цъпей изъ тюрьмы. И они, конечно, отчасти правы. Это въское доказательство убъжденности. Недаромъ Беранжэ говорилъ—"върьте миъ, ибо я часто бывалъ въ тюрьмъ". Но даже "злая ложь облекается въ сіяніе добра",

Если ей грозить насилья острый пожь, А не сила неподкупная пера.

Но поэть не нахаль, а боець. Его противникъ замолчаль по неволь; надо замолчать и ему, хотя бы отъ этого страдала его "личная гордость". Но что значитъ личная гордость, если больше всъхъ страдаетъ истина?

Нътъ борьбы, и—пичето не разберешь,— Мысли спутаны случайностью стъпой,— Стала свътомъ недосказанная ложь. Недосказанияя правда стала тьмой.

И поэть пьеть "за свободу враждебнаго пера". Немного можно указать примъровь такого высокаго сознанія основныхь началь этики истины, какъ этоть. Онъ доказываеть "одному изъ усталыхъ", что природа не умъеть утъщать ожесточенныхъ и жестокихъ. Она инчего не слъдаетъ

Съ такимъ отшельникомъ, которому нужна Для счасти—законпан свобода. А для свободы—вольная страна.

Когда рождается тотъ вопросъ, на который "народы ждутъ отвъта",—"страшно не признать народныхъ правъ". Побъда мысли укажетъ смертнымъ "путь къ торжеству, отрадному для всъхъ".

Откуда же взойдеть эта "новая заря свободы истинной любви и нониманья"? Откуда?—

> Мив, какъ поэту, дъла нътъ, Откуда будеть свътъ, лишь быль бы этотъ свътъ⁶,—

если только, какъ солнце для природы, онъ принесетъ новую жизнь свободъ и духу, и уничтожитъ все, въ чемъ нътъ больше духа.

Напрасно онъ гадаетъ:

Кто этотъ дерзкій полубогъ. Кто печестивець сей блаженный. Кто геніальный сей глупецъ,— Пророкъ-фанатикъ вдохновенный, Или практическій мудрецъ,—

который заставить:

Очнуться насъ отъ тяжкихъ сновъ Разъединенныхъ мысли силавить И силу новую поставитъ На мъсто старыхъ рычаговъ.— А его предтеча, быть можеть, уже шагаеть проседками...

Но это "отрадное всѣмъ торжество" наступитъ безъ кровавой борьбы, безъ жестокостей и насилія. Основная черта этого нерерожденія та, что для него не будетъ сломана надломленная трость, не будетъ погашенъ клочокъ дымящейся кудели. Въ "Повъсти о правдъ истинной и кривдѣ лукавой" святорусскій богатырь Иванъ Буслаевичъ не одолѣлъ въ открытомъ бою проклятой Кривды съ ея сыномъ Кулакомъ.

И до смерти своей Везъ меча, безъ кольчуги, безъ лука и стрълъ, Въ простомъ одъяньъ—по всей Руси Проходилъ онъ—и слово его Выло сильное слово—сильнъй меча: Въ его словъ была правда истипная. Да воспреснетъ то слово и въ наши дни!

И поэть жадно ждаль, когда воскреснеть это слово. Всю жизнь онъ стояль на стражь, зорко всматриваясь въ туманную даль. Восторженный привъть золотому въку готовъ. Уже на закать, при вечеръющемъ блескъ солица, онъ по тропинкъ спускается къ безбрежному морю, когда "изъ мглы темные скачутъ и мчатся валы". Онъ хочеть встрътить волну теплымъ привътомъ.

По на скалу набъжала волна— Тяжко обрушилась, въ пъну зарылась П прошумъла, отхлынувъ назадъ: — Новой волны подожди,—я разбилась!

XI;

Полонскій словно предчувствоваль, что самыя зав'ятныя й'всни его музы, при всей ихъ простоть, не будуть попяты современниками.

Пусть звучить передъ тобой Мой стихь загадочно-простой, Всьмъ слышный, по не всъмъ родной,—

говорилъ онъ еще въ годы молодости. Именно эта простота и сдълала его стихъ такимъ загадочнымъ. Вполив естественно, что рецензентъ "Отечественныхъ Записокъ",—а онъ всегда были несправедливы къ г. Иолонскому,—защищалъ шаблонный и ни на чемъ не основанный взглядъ.

"Г. Полопскій — "поэть" не въ новомъ и истинномъ, а въ старомъ и романтическомъ смыслъ. Извъстно, что въ былое время поэтъ въ общемъ представленіи являлся человъкомъ не отъ міра сего, человъкомъ, который разумълъ "ручья лепетанье и чувствовалъ травъ прозябанье", но не разумълъ многихъ самыхъ обыкновенныхъ житейскихъ вещей и не чувствовалъ, не слышалъ и

не видълъ того, что видъли и слышали самые простые смертные" 1).

Даже какъ-то неловко переписывать эти дътски-наивные плаблоны отрицанія. Рецензенть твердить заученныя фразы, истрепанныя оть постояннаго повторенія, не замѣчая, что онѣ по всей линіи не подходять къ дѣлу. Именно Иолонскій—человѣкъ отъ міра сего. Иныхъ міровъ у него пѣтъ, да они ему и не нужны; ему и здѣсь хорошо и будетъ еще лучше, если всѣ возьмутся за умъ, забудутъ старыя дрязги и дружно пойдутъ къ одной простой и ясной цѣли. Но, конечно, нельзя спорить съ тѣмъ, кто не хочетъ понимать и не смѣетъ вдумываться, потому что тогда, съ запасенными на всякій случай шаблонами, далеко не уѣдешь.

Но странно, что даже старый другь Полонскаго, Тургеневь, всегда такой тонкій и чуткій критикь, защищая поэта отъ нападокъ "Отечественныхъ Записокъ", просмотръль зерно его лирики.

"Въ стихотвореніи "Царство науки не знаетъ предъла",— говоритъ онъ, — выражается скоръе слабая сторона его таланта. А именно: его нъсколько наивное подчиненіе тому, что называется высшими философскими взглядами, послъднимъ словомъ общечеловъческаго прогрессса и т. и. Пекреннее уваженіе, даже удивленіе, которымъ онъ пропикается передъ лицомъ этихъ "вопросовъ", внушаетъ ему стихотворенія то торжественныя, то печальныя, въ которыхъ благонамъренность и чистота убъжденія не всегда сопровождаются глубиною мысли, силой и блескомъ воображенія" ²).

Какъ это странно, какъ все это невърно! Полонскій ни предъ какою философією не преклоняется. Онъ остановился на томъ мѣстѣ, гдѣ начинается метафизика. Если сила и блескъ воображенія даются "призрачными явленіями" инаго міра,—ему не нужно ни этой силы, ни этого блеска. Если глубина мысли открывается въ тайникахъ метафизическихъ предположеній, то онъ равнодушенъ къ этой глубинѣ, потому что его мысли немало дѣла и на земной поверхности. Или и Тургеневу, какъ многимъ мыслителямъ послѣ него, вѣра въ науку казалась признакомъ отсталости? Это едва ли такъ.

Искренніе, при всей эксцентричности, пропов'ядники новой и посл'ёдней правды ставили въ вину наук'я то, что она не спасаетъ челов'єка, не вноситъ въ жизнь святости. За ними, не признавая ихъ постулатовъ и посылокъ, явились люди, которые утилизировали ихъ авторитетъ, чтобы для совершенно другихъ ц'ъ-

^{1) 1881} г. Май. Стр. 291—224.

^{2) &}quot;С.-Петербургскія Въдомости", 1870 г. № 8.

лей воспользоваться этимъ условнымъ выводомъ. Имъ, дъйствительно, мъшала наука и они, при маломъ знакомствъ съ нею, боядись ея; въ виду этого, хотя и подъ чужимъ именемъ, они воздвигли на нее гоненіе. Соблазнительная возможность казаться посителемъ знанія, ничему не учась, подтолкнула многихъ на самое преступное дъяніе въ области мышленія. Въ интересахъ большей популярности того или другаго періодическаго изданія стали эксилуатировать народное суевъріе и гордое самодовольство невъжественной массы.

Тургеневъ стоитъ, конечно, виъ такихъ обвиненій. И тъмъ болъе непонятно, что онъ съ этой стороны крптиковалъ стихотвореніе "Царство науки"... Оно, можеть быть, и доступно критикъ, по критикъ только эстетической, а критика по содержанію мысли здъсь неумъстна. Въ чемъ тутъ "благонамъренность и чистота убъжденій", если человъкъ говорить, что "всюду видны слъды въчныхъ побъдъ науки", что "при свътъ науки муза украшаетъ свое чело свъжимъ вънкомъ"? И причемъ тутъ вообще благонамфренность? Развъ поэтъ хотълъ выслужиться передъ наукой? Передъ къмъ ему нужно было доказывать "чистоту убъжденій"?— Эти термины непримънимы къ тому, у кого своя мърка правды и совъсти, кто хорошо знаеть, чего онъ ждеть отъ жизни. Онъ совершенно равнодушенъ ко всякой философіи и ко всякому новому увлеченію минмой научности, пока они не служать основной задачь всей его дъятельности. Появился спиритизмъ. Какъ же къ нему отнесся Полонскій? "Какъ старый дьякъ въ приказахъ посфдений", онь уничтожиль этихъ новыхъ тощихъ духовъ путемъ сравненія ихъ съ могучими духами прошлаго. Это не падщіе духи преданія, которые мстили небу на землів, это не титаны Эллады, которые шли войною на Олимпъ, не ангелъ, который въ облачномъ столбѣ велъ Монсея къ землѣ обѣтованной; не херувимы, которые стояли на Синав, когда Іегова писаль заповъди на каменныхъ скрижаляхъ; не благовъстники Рождества Христова, не бъсы среднихъ въковъ, когда даже Галилея хотъли сжечь, какъ еретика; не демоны Байрона, не Мефистофель Гете—а просто глуные и скучные духи, которые только стучать и вертять столами. Это шуты, дъти пустоты:

> Они—фантазія безъ крылъ, Они—не въ силахъ дать намъ знапье, И дать памъ въру нътъ въ нихъ силъ.

Что ему за дѣло до этихъ духовъ, если они не могутъ помочь людямъ получше устроить свою жизнь? А только это и серьезно.

Правъ ли Шопенгауэръ съ его пессимизмомъ? Толстой съ его непротивленіемъ злу? Философы, подобные Нитцше и Нор-

дау?—Поэть къ нимъ равнодушенъ; онъ имъ не върнтъ, почти не слушаетъ ихъ, потому что они говорятъ не то, что надо. Надо, чтобы не было споровъ, насмъщекъ, проніи, сарказма, злобы, соперничества, вражды, насилія; надо, чтобы не было зла, страданій, смерти; надо, чтобы всъ дъйствовали дружно и заодно, помогали другъ другу и никому не мъщали житъ и наслаждаться; надо, наконецъ, чтобы всъ были счастливы. Эту простую и ясную ноэтическую программу Полонскій не уставалъ повторять въ самыхъ простыхъ и ясныхъ выраженіяхъ. Но ему не върили; думали, что онъ хитритъ, что за его словами есть какая-то задияя мысль, что онъ еретикъ, такъ какъ поклоняется какой-то невъдомой философіи. Всъ эти педоумънія сконцентрированы въ одномъ ядовитомъ упрекъ, что его мысли—"туманны". На это онъ отвъчалъ до сарказма просто:

Если пъснь моя туманна,-Значить жизнь еще туманнъй, Значить, тамъ и зги невидно. Гдъ быль виденъ нарусъ ранній.

Нужно солице, чтобы онъ занталь ясите. Онъ видить только днемъ. Въ почное время зоркостью отличаются только совы.

XVL

Ясно, что эта въра не изъ кинги; она сложилась изъ непосредственныхъ органическихъ ощущеній поэта. Зимою и ночью его вдохновеніе стынетъ. Его итсия ждетъ "ясной зорьки", когда "зачиликаютъ вольныя итички". Когда страдали близкіе друзья поэта, унылая тънь проходила по дъвственному челу его музы

Дрожала блъдная рука И съ олимпійскаго вънка Съ досадой листья обрывала.

Его вдохновеніе не пробуждается петербургской весной съ ея міазмами; онъ бонтся, что такая же весна выпадеть на долю русскаго народа и просить себ'в другой весны.

> Дайте тепла, чтобъ порой Въяло миъ изъ окна Свъжей грозой; Чтобъ солице, какъ сердце горъло, Чтобъ все говорило и пъло: Здравствуй веспа!

Ибвецъ весны и ясныхъ радостей, онъ не любитъ всего, что грозитъ молодымъ всходамъ.

Любя колосьевъ мягкій шорохь II ясцую лазурь, Я пе любиль, любуясь цивой, Ни темныхъ тучь, ни бурь. Есть только одна ивсия, ивсия счастья. Ивным печали и мести, ивным міровой скорби и неземнаго страданія, сомивнія и отрицанія,—Аккермань и Леопарди, Мицкевичь и Гейне—не существують для того, у кого муза при видів страданья готова снять съ себя свой олимпійскій візногъ. Пока есть візра въ "тайну откровенья", мечты о любви и славів, візра въ законъ любви, добра и истины, способность наслаждаться произведеніями искусства и мысли,—поэзія еще не ушла отъ ноэта. Но,

Когда замолкиеть все въ душть твоей тревожной И ты повършшь въ пепреложный Закопъ певоли, зла и пошлости людской,— Поэзія тебя покинеть, милый мой.

Тѣ жгучія и паркотическія темы поэзій, которыя такъ глубоко волнують наше покольніе,—не поэзія для поэта счастья и добра. Такимъ опъ быль въ годы молодости; таковъ онъ и на закатѣ. Заповъдную тайну своей поэзій онъ ясно открылъ въ одномъ стихотвореній ("Н. П. Лорану"), которое появилось сравнительно недавно.

Нлохо вижу я дорогу, Но, шагая рядомь въ ногу Съ неотзывчивои толной,— Страсти жаръ неутоленной, Колодъ мысли непреклопной, Жажду правды роковой Я несу еще съ собой...

Что же? Подъ вечеръ утомила эта ноша поэта?

Но, повърь миъ, ноша эта Миъ была бы инпочемъ, Еслибъ только было лъто И дышалось бы тепломъ. Мив бъ казался путь не дологъ, Еслибъ солнечныхъ небесъ, Голубой прозрачный пологы Окаймляль зеленый лъсъ, Еслибъ въ полъ пъли птицы, А за нашней на юру, Полоса густой ишеницы Колыхалась на вътру. Не простыль бы жарь сердечный: Я бъ надеждою безпечной Духъ мой втайнъ веселилъ И меня, съ утратой силъ, Но дорогь къ правдъ въчной Холодъ мысли не знобилъ.

Это тотъ самый холодъ мысли, который обнакаеть страшную правду дъйствительности,—правду, которой не върить сердце поэта, полное своею правдою.

Загадочные звуки этой кроткой и свътдой лиры яснъе всего прозвучали въ лучшій праздинкъ его музы, въ "Юбидей Шиллера" и въ самый черный день всей его жизни, въ "Жалобахъ музы".

Вся Европа встала Засвътила тысячи огней, И отпъла, и отликовала Шиллера столътній юбилей...

Значить, не въчно вражда и разъединеніе будуть держать міръ въ нев'яжеств'т и заты, если вся Европа соннась на праздникъ пъвца любви и добра. Первый крикъ ребенка и слово генія-воть то, что понятно всімъ племенамъ и народамъ. И правы были "въстники боговъ",-поэты, которые предрекали людямъ торжество мира, мысли, любви, свободы. И въ нашъ желъзный въкъ сила духа поднимаетъ побъжденныхъ; громъ побъдъ пугаеть побъдителя; и какъ только уналъ мечъ, вся Еврепа зажгла юбилейные огни на праздникъ поэта. Вопросъ свободы ждеть себъ отвъта; какъ только онъ всталь, встала вся Еврона, чтобы отликовать юбилей иввца свободы. Если духъ ноэта—ввтеръ, то этотъ вътеръ несетъ грозныя тучи, а подъ грозой тучнъй зръстъ родная нива и роскопиње распускаются цвъты; чуя въяніе этого духа, вся Европа отпъла столътній праздникъ иъмецкаго поэта. Это Шиллеръ видълъ въ людяхъ-полубоговъ, видълъ въ идеалъ божество, приготовилъ въ міръ торжество разума надъ мракомъ и страстями; въ его въчныхъ, чистыхъ и евятыхъ пъсняхъ звучалъ божій голосъ, въчный голосъ любви. Оттого-то

> Вся Европа встала, Засвътила тысячи огней, И отпъла, и отликовала Шиллера столътній юбилей.

Какъ ликующій и неотразимый аргументь, этоть припъвъ замыкаєть каждую строфу восторженнаго диопрамба. "Юбилейные огни" на праздникъ Шиллера—могучее доказательство того, что сбудется лучшая греза поэтовъ: настануть дни воли и счастья замолкнуть голоса вражды и розни, и опустится мечъ. Люди—не звъри, это полубоги, которымъ понятенъ въчный голосъ любви. "Тихимъ тренетомъ одной струны",—живой струны, которая у всъхъ звенить "въ сердечной глубниф", - откликается нашъ поэтъ на юбилей всемірнаго поэта, праздникъ котораго—и его праздникъ.

Но жизнь рѣдко дарила нашего поэта такими свѣтлыми минутами. Были у него и черные дни. Онъ давно предчувствовалъ, что его ждуть эти скорбные дни. Одно изъ его молодыхъ стихотвореній проникнуто этимъ грустнымъ, почти пророческимъ предчувствіемъ. Онъ въ дорогѣ. Ему скучно и онъ проситъ яминка

спѣть иѣсню. "Про черный день мы пѣсню бережемъ",—было отвѣтомъ на эту просьбу. Поэтъ долго думалъ надъ этимъ отвѣтомъ, пока его ямщикъ, довольный, что онъ дома, мѣнялъ лошадей. У него, вѣчнаго странника, нѣтъ своего угла, нѣтъ дома, гдѣ его ждутъ и у него вырвались странныя загадочныя слова:

Про черный день-нътъ пъсни у меня.

Но вотъ настали дни вражды и розни,—племенной розни, которая нашла своихъ пъвцовъ,—дни польскаго мятежа. Это были самые черные дни его музы и въ эти дни онъ спълъ свою лучшую свою лебединую пъсню; пълъ онъ о томъ, что про черный день— нътъ пъсни у него.

Не жди ты меня.
Не кличь! не зови меня музою!—Нъть
На закатъ тревожнаго дня
Я пъть не могу,—я устала, поэть!
Я иъть не могу,—
Я встръчаю на каждомъ шагу
Озлобленныхъ, бъдныхъ, измятыхъ судьбой.
Идутъ они порознь изъ сумрака въ мглу,
Отъ извъстнаго зла къ неизвъстному злу,
И не ищутъ звъзды иутевой.
И не пужно имъ сердце мое—факелъ мой!—
Сама я сняла
Вънокъ съ молодаго чела...

Кому пъть, если никому не нужно это сердце, эта путеводная звъзда, этотъ факелъ? Муза подошла къ пахарю и сама заслушалась его простой степной иъсни.

"Уйди, ты можешь утъщить, не можешь помочь",—угрюмо сказаль ей бъднякъ въ городъ.

"Какъ бъдно одъта! Какъ трудно узнать! Гдъ прежнія ръчн, гдъ прежняя стать?—сказали ей въ чертогахъ богача.

"Я върила грезамъ, пора перестать",—сказала въ больницъ молодая преступница, падъ которой, какъ пяня, съ сердечной пъсней склонилась печальная муза.

Сурово приняли ее и въ тюрьмъ. Въ воздухъ носилась невеселая мысль—"и мы всъ не нужны, и ты не нужна". Отъ каменныхъ городскихъ стънъ, "отъ разврата, нужды и оковъ", съ послъднимъ драгоцъннымъ обломкомъ разбитыхъ надеждъ въ груди она ушла въ широкую даль, навстръчу южной весны и—наткнулась на трупъ.

О, поэтъ! отъ живыхъ Суетящихся, плачущихъ, глуныхъ и злыхъ, И отъ жалкаго ронота ихъ безъ конца— Для того-ль я ушла, чтобъ найти мертвеца!?

Крѣнко стиснувъ рукоять своей сабли, "окровавленный, страшный, нъмой", въ полусвѣтъ луны лежалъ сраженный воинъ.

> Въдный брать! За кого умерь ты? За кого ты погибъ? Бъдный брать!

И она поникла надъ нимъ, какъ сестра, звала его домой на прадъдовскую скамью, къ молодой женъ. Но "мертвой силой дохнулъ его ликъ" и на немъ отразилось столько безконечной вражды, что, казалось, ея роковые стъды были глубке слъдовъ самой смерти. "Ого"!—заговорилъ онъ сквозь зубы.

Какть пѣжна ты!—Запой!—Можетъ быть, И очнусь и на звукть хитрой пъсни твоен. Хоть на мить оживи, чтобъ я могь раскроить Тебъ голову саблей моей!...

Занималась заря, когда она отошла прочь отъ этой непримиримой вражды. Послышались залиы, дымъ заволакивалъ своимъ флеромъ штыки,

Словно этимъ хотъль онъ отъ глазъ заслонить И того, кто убитъ, и кто хочетъ убитъ... О, поэтъ! Не желая, чтобъ кто нибудь палъ. Ты кому бы изъ нихъ сталъ нооъды желатъ!! Въ этотъ мигъ, отвъчай миъ скоръй, что могла бы я иъть, еслибъ ты пожелалъ Новыхъ иъсенъ отъ музы твоей?!

Тамъ, гдъ вражда, не нужны ел иъсни, нотому что ел иъсни не иъсни вражды.

Куда я нонду теперь: Теменъ мой нуть Кличь музу иную, —меня позабудь! И знай: появись мив самъ богъ Аполлонъ, Мив дивный восторгъ его былъ бы смъщель! Меня, утомлениую, царственный богъ Не могъ бы узнать и судить бы не могъ!

Въ этихъ скорбныхъ звукахъ вылилась вся измученная душа ноэта. Съ чуткимъ сердцемъ въ груди, съ иъсней счастья и воли въ устахъ, его муза ибмъетъ при видъ страданій, насилья и зла; у нея, богатой звуками радости и любви, про черный день—иътъ иъсни. Какъ не похожа эта муза на музу Фета, которую "жизненныя тяготы заставляли въ теченіе пятидесяти лътъ по временамъ отво рачиваться отъ инхъ, чтобы хотя на мгновеніе вздохнуть чистымъ и свободнымъ воздухомъ поэзін!" Впрочемъ, самую мъткую и злую оцънку вдохновеній Фета сдълалъ – самъ Фетъ. Они, дъйстви тельно, "возмутительны своею невозмутимостью" 1).

Нервная и тревожная муза Я. П. Полонскаго не могла за стыть въ такомъ деревянномъ равнодушін. Чутко прислунивансь ко всёмъ голосамъ жизни, она ловила каждый намекъ, который будилъ ея лучнія вдохновенія, и синмала олимпійскій вѣнокъ съ своего чела, когда жизнь грозила ея свѣтлымъ грезамъ.

Чёмъ объяснить, что мотивъ этихъ "Жалобъ музы" снова

^{&#}x27;) "Лирическія стихотворенія" А. Фета. Часть II, стр. 166—167.

прозвучаль, и не такъ давно? Въ "кишжкахъ Недѣли" за октябрь 1893 года появилось очень характерное стихотвореніе г. Полопскаго: "Враждою народовъ"... Грустный аккордъ снова сорвался со звучныхъ, по прежнему, струнъ. Народы враждуютъ, какъ прежде, и открываютъ дорогу для мрачныхъ явленій. Молча грозя, они скользятъ надъ бездной...

Нельзя быть счастливымъ, нельзя, Мой другъ, моя совъ́сть, мой геній!...

"Въ велнахъ перекатнаго зла, я утлый челнокъ безъ весла"...

Спасти отъ мятежнаго зла И ты бы меня не могла, Мой другь, моя совъсть, мой геній!... Ни честнымъ въ борьбъ погибать, Ни свъту, въ бреду вождельній, Изъ злата кумиръ созидать, Ни зависти метить иль роптать-И ты бъ не могла помъщать. Мой другь, моя совъсть, мой геній!... Не въ черные дии, съ ихъ нуждой, Съ ихъ горемъ отъ бъдъ и лишеній, Изть,—въ солиечный день, подъ листвой. Пль въ тихую полночь весной, Приди и бесбдуй со мной. Мой другъ, моя совъсть, мой геній!... II свъть намь не будеть внимать... Вдали отъ его искушеній Дозволю себъ я мечтать И, можеть быть, буду опять На силу любви уповать, Мой другь, моя совъсть, мой геній!...

Въ этомъ стихотворенін ясно отразились вев основныя черты міровозэрвнія Полонскаго. Для него нізть счастья среди ожесточенной и непримиримой вражды. Невольно въ его сознаніе входять "мятежныя сомнівнія", и въ эти дни опъ не зоветь къ себъ музы: не ей спорить съ злыми демонами візка. Но въ солнечный день, или въ полночь весной, онъ снова позоветь къ себъ свою старую подругу, снова позволить себъ мечтать и, можеть быть уповать на силу любви.

При всей своей застънчивой скромности, это такая же упрямая въра, какъ въра Галилея. "Въ волнахъ перекатнаго зда" поэть въритъ, что придутъ еще дни, когда отъ него отодвинутся эти мучительныя сомиънія и онъ найдетъ уголокъ, чтобы по прежнему номечтать о возможности счастья и о силъ любви. Но теперь—"нельзя быть счастливымъ,—нельзя"... Теперь могутъ быть счастливы только слишкомъ "невозмутимые" люди.

И до сихъ поръ, даже при видѣ золотаго тельца, поэтъ не разбилъ своихъ скрижалей. Проклятье и гиѣвъ — это муза иъв-

цовъ, которые слишкомъ тороиливо отказались отъ въры въ чудеса человъческаго сердца, которые слишкомъ нетериъливо ипли къ своей недалекой цъли. А онъ ждетъ и въритъ.

XVII.

Г. Полонскій очень удачно назваль одинь изъ сборниковъ своихъ стихотвореній—"Озими". Дъйствительно, была эпоха, когда съмена его лирики лежали подъ сиъгомъ. Онъ началь писать, когда

одна поззія спасала Отъ пошлости и пустоты,

а въ лучшіе годы жизни ему приходилось мириться съ твмъ, что

Къ поэзін чутье утратить гордый въкъ, Въ мишурной роскоши онъ ищеть наслажденья.

Опъ не примкнулъ ни къ одной изъ журнальныхъ партій. Опъ не поступился своею личностью ради партійности и не сталъ поэтомъ "злобы дня". И это долго ему ставили въ вину. Его самоувъренные критики теперь забыты, но въ свое время они стояли въ апогет своей популярности и считались компетентными судьями во вевхъ отрасляхъ знанія и некусства. Не поступаясь своими убъжденіями, поэть почти замолкъ, потому что его муза не выносила ръзкаго спора и вражды. Въ въкъ сатиры онъ выступилъ чистымъ лирикомъ, въ вфиъ отрицанія — півцомъ положительныхъ идеаловъ. Въ половодье и ручьи многоводны. По сиъгъ стаялъ, полая вода сощла, ручьи стали ручейками и новая весна новымъ тепломъ повъяла на музу поэта. Какъ въ годы воспрінмчивой молодости, такъ и въ концъ жизни отзывчивы и звучны струны его лиры, молодъ и ворокъ глазъ, горячо и смъло бъется чуткое сердце. Въ "Русскомъ Въстникъ" было напечатано его стихотвореніе "Ребенку, на вопросъ: откуда звъзды"? Эта граціозная и смъдая фантазія обвіжна ароматами весеннихъ цвітовъ, озарена прозрачнымъ сіяніемъ звізднаго неба, дышетъ молодостью, свізжестью и силой.

Поэтъ весны, -- по веснъ онъ и ноетъ какъ итичка.

Въ небесахъ, но не для неба. Вся полна живыхъ заботъ. Для земли, не ради хлъба, Итичка весело поетъ.

Это ноэть-человъкъ въ полномъ и высокомъ смыслъ этого слова. Въ стороиъ отъ философскихъ школъ и конфессіональныхъ доктринъ, чуждый нартійности и тенденціозности, онъ построилъ себъ свой храмъ, доступный всѣмъ, кто въ силахъ дѣлить его дътски-чистую въру въ торжество добра и свѣта. Это не ка-

нище для посвященныхъ не мистерін тайнаго культа, а храмъ любви и мира.

Онъ ли виновать, что жизнь такъ мало давала ему сюжетовъ для свътлыхъ и чистыхъ пъсень? Среди вражды и общей розни нечасто встръчалъ онъ ласки солнца и тъ благодатныя грозы, которыя несли дождь въ засуху. Онъ—съятель добра и правы—зналъ, что запасъ его съмянъ не великъ и выразилъ это сознаніе въ превосходномъ стихотвореніи "Нищій", гдъ онъ такъ просто и скромно говорить о своей дъятельности.

Онъ знавалъ инщаго, который съ утра, какъ тѣнь, бродилъ подъ окнами и просилъ подаянья, а къ почи все раздавалъ бѣднымъ, калъкамъ и слъщамъ,—такимъ же нищимъ, какъ и самъ,

Въ нашъ въкъ таковъ иной поэтъ: Утративъ въру юныхъ лътъ, Какъ нищій старецъ изпуренъ, Духовной инщи проситъ онъ: И все, что жизнь ему ни шлетъ, Онъ съ благодарностью береть, И душу дълить пополамъ Съ такими жъ нищими, какъ самъ!

Но мы знаемъ, какъ драгоцѣнны тѣ сѣмена, которыя нужны для его посѣва. Это алмазы людского сердца—н

Вездушенъ, кто не понимаетъ. Насколько тотъ богатъ душой, Кто дерзновенною рукой Намъ перлы творчества бросаетъ.



